БЕН
ЭЛТОН
ДВА БРАТА
РОМАН

Бен Элтон

Два брата

«Фантом Пресс»

2012

Элтон Б.

Два брата / Б. Элтон — «Фантом Пресс», 2012

ISBN 978-5-86471-675-5

24 февраля 1920 года в Берлине рождаются два младенца, которым суждено стать братьями. В тот же день в Мюнхене создана Национал-социалистическая партия. Пауль и Отто неразлучны и оба похожи на своих еврейских родителей, хотя совсем не похожи друг на друга. Они и не догадываются, что один из них приемыш, – более того, не еврей. Их отец играет по джазовым клубам, мать лечит больных, жизнь в Германии, еле приходящей в себя после Великой войны, потихоньку налаживается. Братья вместе растут, вместе дружат с одной девочкой, вместе влюбляются в другую. Но когда к власти приходят нацисты, жизнь меняется необратимо и страшно: в кошмарной стране внезапно важнее всего оказываются кровь и происхождение. Бен Элтон – британский писатель, режиссер, сценарист ситкома «Черная Гадюка» и создатель мюзикла «We Will Rock You» – написал пронзительный и честный роман по мотивам истории своей семьи. Как и в жизни, здесь есть смех и слезы, нежность и злость, верность и предательства. Это история о том, чем готовы пожертвовать люди ради выживания – своего и тех, кого они любят. Что им делать с каждодневной ненавистью, с неотступной памятью, с неутихающей болью – и как из этого всего порой прорастают одиночество, страх и жестокость, а порой – доброта, мудрость и счастье. Книга содержит нецензурную брань. В формате a4.pdf сохранен издательский макет. Больше интересных фактов об авторе читайте в ЛитРес: Журнале

ISBN 978-5-86471-675-5

© Элтон Б., 2012
© Фантом Пресс, 2012

Содержание

Барышня на тележке 7
Чай с печеньем 10
Близнецы 14
Еще одно дитя 16
Отмена операции 17
Плач и крик 21
Предложение 24
Новая модель 26
Рейнская дева 30
Дистрикт и Кольцевая линия 34
Бешеные деньги 36
Юные предприниматели 40
Смешные деньги 45
Старый знакомый 48
Новая работа 51
Сент-Джонс-Вуд 57
Слишком много джаза 61
Крикливый трехлетка 64
Современный джаз 65
Цирлих-манирлих 68
Субботний клуб 73
Два застолья и крах 77
Бой за Дагмар 79
Конец ознакомительного фрагмента. 81

Бен Элтон
Два брата

TWO BROTHERS by Ben Elton
Copyright © 2012 by Ben Elton
First published as Tw o Brothers by Transworld Publishers, a division of The Random House Group

Книга издана с любезного согласия автора и литературного агентства Синопсис

©Stephen Mulcahey / T W, дизайн обложки
©А. Сафронов, перевод, 2014
©«Фантом Пресс», оформление, издание, 2014

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Посвящается двум кузенам, моим дядьям:
Хайнцу Эренбергу, с 1939 по 1945 год служившему в вермахте,
и
Джеффри Элтону, с 1943 по 1946 год служившему в британской армии.

Барышня на тележке
Берлин, 1920 г.

Очнувшись от сна, полного легких брыканий, Фрида Штенгель поняла, что ее ночная сорочка и простыни насквозь промокли.

Светало, но занимавшийся день не особо развеял хмурь и тьму долгой студеной ночи. В сумеречном воздухе зависали облачка дыхания. Фрида потрясла мужа за плечо и прошептала:

– Вольфганг, воды отошли.

Тот рывком сел в кровати.

– Так! – Вольф таращил глаза, пробиваясь к яви. – Хорошо. Все чудесно. Действуем по плану.

– Еще не рожаю, – успокоила Фрида. – Боли нет. Схваток тоже. Однако все на подходе.

– Не волнуйся. – Вольфганг вылез из постели и споткнулся о свои башмаки, как раз на случай экстренной побудки стоявшие поближе к кровати. – У нас четкий план.

Фрида ждала двойню, и ей было обеспечено место в роддоме берлинского медцентра. От Фридрихсхайна, где жили супруги, до района Бух – несколько километров через весь город. Фрида влезла в одежду, надеясь, что малыши не поспешат.

Вольфганг взял жену под руку, и вместе они осторожно одолели десять лестничных маршей, отделявших их квартиру от улицы. В доме был древний тряский лифт, но супруги решили, что в столь ответственный момент нельзя доверяться крохотной железной клетке.

– Вообрази, если вдруг застрянем и ты родишь между этажами, – сострил Вольфганг. – А лифт рассчитан на троих. Консьержка, стерва, настучит в домовый комитет.

Молодая пара ступила на обледенелый тротуар под нависшим, мрачным серым небом, которое будто отлили в знаменитых эссенских металлургических цехах Круппа и приклепали над Берлином. Нахохлившийся город мерз под стальными небесами. Военные и послевоенные зимы выдались суровые, и продрогшие работяги, что спешили на утреннюю смену, ежились под кусачими восточными ветрами, отбивавшими память об иных временах года. А ведь некогда вся Унтер-ден-Линден сияла липовым цветом, в парке Тиргартен старики скидывали пиджаки, а девушки ходили без чулок.

Однако в феврале 1920 года весна и лето были далеким воспоминанием, грезой о прекрасной поре до катастрофы Великой войны, разразившейся над Германией. Казалось, в небесах, навеки отлитых из пушечной стали, слышны орудийные раскаты, словно за горизонтом, на полях Бельгии, Франции и в бескрайних русских степях, еще гремела канонада.

Такси, конечно, не сыщешь, да и не по карману, а трамвайщики, как назло, затеяли очередную забастовку. Посему Штенгели заранее условились с местным зеленщиком, что одолжат его тележку.

С тележкой и букетом морковок, перевязанных розовой и голубой лентами, герр Зоммер поджидал их перед лавкой.

– Оба цвета, поскольку Вольф уверяет, что вы ждете мальчика и девочку, – пояснил он. – Одним махом полная семья.

– Будут мальчики, – твердо сказала Фрида. – Берегитесь, вскоре они начнут тырить ваши яблоки.

– Если будет что тырить, – печально вздохнул зеленщик, и Вольфганг покатил тележку, загромыхавшую на скользкой обледенелой мостовой.

На соседней улице протрещали выстрелы, но супруги оставили ее без внимания, как и топот, вопли и звон разбитого стекла.

Нынче стрельба, топот и звон стекла – просто городской шум, который уже не замечаешь. Звуки эти стали обычны, как крик газетчика, птичий щебет в парках и перестук городской электрички. Народ не обращал на них внимания и, уткнув взгляд в землю, поспешал занять место во всевозможных очередях.

– Козлы, – буркнул одноногий ветеран, скача мимо на костылях.

– И не говори, – вслед британцу затылку под военной фуражкой бросил Вольфганг.

Упомянутые беспорядки газеты называли «революцией», но если это и революция, то сугубо немецкая. Чиновники ходили на службу, все учреждения работали. На тротуарах играла ребятня. В восемь тридцать секретарши садились за машинки. В ближайшем подвале кто-то кого-то до смерти забивал ногами.

Берлин спокойно занимался своими делами, пока в обеденный перерыв коммунисты и фрайкор[1] убивали друг друга.

Фрида и Вольфганг тоже были заняты делом – по крайней мере, Вольфганг, даже на холоде весь взмокший. Проклиная там и сям встречавшиеся баррикады, он толкал тележку по булыжным мостовым и наконец добрался до Линдербергер-Вег, где высилось величественное крыльцо знаменитой учебной клиники на пять тысяч коек, самой крупной в Европе.

Вольфганг остановился и, глубоко втянув обжигающий морозный воздух, снял Фридину сумку с тележки.

– Однако тяжеленькая, – выдохнул он. – Что, и впрямь нужны все эти книжки?

– Вдруг залежусь? – Грузно перевалившись через тележный задок, Фрида поморщилась, когда распухшие лодыжки приняли ее вес. – Надо кое-что доделать.

– Что ж, правильно, Фред. – Вольфганг с наслаждением закурил. – Ты вышла за музыканта. И он надеется, что когда-нибудь заживет жизнью, от которой не захочется отвыкать.

– Ты композитор, Вольф, не просто музыкант, – улыбнулась Фрида. – Родителям я говорила, что выхожу за нового Мендельсона.

– Избави бог! Уж больно много мелодий. Ты же знаешь, Фредди, музыка типа «кофе с пирожным» не по мне.

– Людям нравятся мелодии. За них-то и *платят*.

– Вот почему я уцепился за умненькую барышню, когда выпал шанс. Всякий джазмен нуждается в заботе по уши влюбленной докторицы.

Вольфганг обнял жену за неохватную талию и поцеловал. Рассмеявшись, Фрида его отпихнула:

– Вовсе не по уши, а жутко терпеливой. И пока я не врач. Надо еще одолеть выпускные экзамены. Осторожнее с книгами. Они библиотечные, чуть помнешь – штрафуют.

В Берлинском университете Фрида изучала медицину. И даже получала какую-то стипендию, во что никак не могли поверить ее глубоко консервативные родители.

– Хочешь сказать, там *оплачивают* образование? Даже *женщинам*? – недоверчиво спрашивал отец.

– Приходится, папа. Многие мужчины погибли.

– Все равно. Женщина-врач? – Жесткая щетка прусских усов, символ незыблемой уверенности, смятенно топорщилась. – Кто ж ей доверится?

– А если нет выбора? – парировала Фрида. – Папа, уже два десятка лет, как на дворе двадцатый век, ты подотстал.

– Ошибаешься, – мрачно возражал отец. – Он наступил лишь недавно, после отречения его императорского высочества. И один Бог знает, когда и как он закончится.

---

[1] Фрайкор (нем. *Freikorps* – свободный корпус, добровольческий корпус) – полувоенные патриотические формирования в Германии и Австрии XVIII–XX вв. – *Здесь и далее примеч. перев.*

Фридин отец служил в полиции, мать гордо занималась домом. Он приносил жалованье, она вела хозяйство и воспитывала детей. Мировоззрение их сложилось при кайзере, и от политических и культурных потрясений послевоенной Веймарской республики голова у них шла кругом. Оба не понимали правительство, которое не способно остановить уличные перестрелки, но озабочено равенством полов.

А также не понимали зятя, который беспечно обзавелся семьей, но не мог оплатить такси, чтобы доставить жену в роддом.

– Если б папа увидел, что его дочь на бакалейной тележке везут рожать, он бы, наверное, тебя пристрелил, – сказала Фрида, тяжело взбираясь на крыльцо.

– Он едва не убил меня, когда я тебя обрюхатил. – Вольфганг шарил по карманам, ища направление в больницу.

– Он бы так и сделал, если б ты на мне не женился.

– Ага, вот оно. Все путем.

Сквозь большие парадные двери туда-сюда шастали озябшие больные.

– Вечером приду, – сказал Вольфганг. – Гляди, чтоб вас уже было трое.

Фрида схватила его за руку:

– Господи, Вольф, вот ты сказал… Нынче нас только двое, а завтра будешь ты, я… и наши дети.

Под порывом ветра она поежилась. Исконопаченный дождинками холод легко проникал сквозь ее ветхую одежду. Вольфганг вновь обнял жену, теперь не игриво, но страстно, даже отчаянно. Под бездушными гранитными колоннами огромного здания два продрогших человека прижались друг к другу.

Два молодых сердца бились в унисон.

И еще два, совсем юные, в тепле Фридиного живота.

Четыре сердца, объединенные любовью, стучали в громадном аритмичном сердце из камня и стали. Берлин – сердце Германии.

– Верно, – сказал Вольфганг. – Ты, я и наши дети. Самое прекрасное, что есть на свете.

Сейчас он был серьезен и не пытался шутить.

– Да, на всем белом свете, – тихо ответила Фрида.

– Ну ладно. Ступай, Фред. Нюниться чертовски холодно.

Не было и речи о том, чтобы Вольфганг остался. В послевоенном Берлине мало кто из будущих папаш располагал временем слоняться перед палатой роженицы, всех одаривая сигарами[2]. Герр Зоммер ждал свою тележку, а Вольфганга, как и всех прочих в ту кошмарную зиму, ждали всяческие очереди.

– У Хорста дают мясо, – сказал он, спускаясь по ступеням крыльца. – Барашка и свинину. Раздобуду, даже если придется заложить пианино. Тебе нужно железо, раз собираешься кормить сынка и дочку.

– Наших сыночков, – поправила Фрида. – Будут мальчики. Уж поверь, женщина знает. Пауль и Отто. Парнишки. Счастливчики.

– Почему счастливчики? – спросил Вольфганг. – Если не считать того, что у них самая красивая на свете мама.

– Потому что они близнецы. Один за другого. Это жестокий город в жестоком мире. Но в любых тяготах наши мальчики всегда будут друг другу опорой.

[2] Дарить сигару в честь рождения младенца – традиция, насчитывающая столетия. Историки полагают, что она исходит от индейских племен, населявших доколумбову Америку.

Чай с печеньем
Лондон, 1956 г.

Стоун рассматривал стол под грубой холщовой скатертью: чашки, печенье, блок желтой бумаги для заметок, увенчанный авторучкой. Потом перевел взгляд на черный бакелитовый телефон: острые грани, обшарпанный витой шнур в бурой матерчатой оплетке. Похоже, модель начала тридцатых годов.

Что Стоун делал, когда шнур был новехонек?

Дрался, конечно. Или в панике мчался по берлинским улицам, выглядывая, в какой проулок нырнуть. По пятам летел брат, оба – мальчишки, охваченные смертельным страхом.

По шнуру взгляд его проследовал под стол и, скользнув по слегка покоробившемуся темно-красному линолеуму, уперся в черную коробку, привинченную к плинтусу. Казалось, она тихо жужжит, но, скорее всего, это просто гул машин на Кромвель-роуд.

Стоун беспокойно поерзал на стуле. Он так и не привык к чиновничьим допросам в голых стенах. Даже сейчас казалось, ему что-то угрожает. Даже сейчас он ждал побоев.

Правда, здесь Англия, где подобное не практикуется. Левацки настроенные приятели посмеивались над его страхами. Но им повезло не жить в стране, где разнузданное насилие было не исключением, а правилом.

Стоун вновь посмотрел на следователей. Классическая пара. Один – весьма плотный лысый коротышка с потешной кляксой усов; глаза-бусины беспрестанно косились на печенье. Другой чуть-чуть рослее, но костлявый; из угла пустой безоконной комнаты поглядывает из-под слегка припухших век. Прям как в кино. Питер Лорре ведет допрос, а невозмутимый Хамфри Богарт помалкивает[3].

– Вы едете в Берлин, надеясь встретиться с вдовой вашего брата?

Коротышка, Питер Лорре, уже второй раз задал этот вопрос.

Или это утверждение? Все верно. Но откуда они знают?

Прочли письмо Дагмар. Явно.

– *Предполагаемой* вдовой, – уклонился от ответа Стоун. Жизненный опыт научил: от властей разумнее скрывать сведения, пока тебя не приперли к стене.

– Думаете, ваш брат жив?

– Его смерть не доказана фактически.

– В смысле, трупом?

– Скажем так.

– Разумеется, ваш брат *предположительно* мертв. – Лорре все же капитулировал перед печеньем, выбрал песочное. – В сорок первом убит русскими в сражении под Москвой.

– После войны так заявили восточногерманские власти.

– Есть причины сомневаться?

– Нет. Никаких. Только надежда. Брат всегда все планировал. Он не из тех, кого легко убить.

– Войска СС как раз и формировали из тех, кого нелегко убить. По крайней мере, до тех пор, пока не начали рекрутировать мальчишек. Вашего брата призвали в сороковом, не так ли?

Скрытая издевка? Вскипела злость. Кто дал право судить этому самодовольному коротышке, чавкающему печеньем? Он не изведал того, что выпало брату. Матери и отцу. И Дагмар.

Опять чувство вины.

---

[3] Питер Лорре (Ласло Левенштайн, 1904–1964) – австро-американский киноактер, режиссер и сценарист; Хамфри Дефорест Богарт (1899–1957) – американский киноактер. Вместе снимались в фильмах «Мальтийский сокол» (*The Maltese Falcon*, 1941), «Касабланка» (*Casablanca*, 1942) и других.

Психиатры называют это «комплексом выжившего».

– Брат не был нацистом, – твердо сказал Стоун.

– Разумеется. – Питер Лорре уже не скрывал издевки. – Никто не был нацистом, верно? Во всяком случае, *теперь* все так говорят. Войска СС были не всамделишные, верно? Они не создавали лагеря. И ни в чем не виноваты.

– Брат женился на еврейке.

– Да, мы знаем. Дагмар Штенгель, в девичестве Фишер. Вы едете в Берлин на встречу с ней. Разве не так?

Стоун вновь уставился на чашки с блюдцами. Он не собирался откровенничать, но вопрос явно риторический, и вовсе ни к чему попасться на вранье.

– Верно, Дагмар Фишер, – сказал он.

– Дагмар Штенгель.

– Я знал ее как Фишер. Она вышла за брата уже после моего отъезда из Германии.

– Когда в последний раз вы виделись с госпожой Штенгель?

Стоун глубоко затянулся сигаретой и прикрыл глаза. Как часто он это вспоминал. Гудки и лязг паровозов. Запах ее волос. Динамики грохочут маршами, невозможно прошептать ей все, что так хотелось сказать.

– В тридцать девятом, – ответил Стоун.

– В Берлине?

– Да. В Берлине.

– А после войны? Пытались ее разыскать?

– Конечно. Я искал всю свою семью.

– Вы были в Германии?

– Да. С войсками. Администрация помощи и восстановления Объединенных Наций. Я работал в лагерях для перемещенных лиц. Вы же это знаете, обо всем сказано в моем досье.

– Ага, весьма удобно для поиска неуловимой иудейки, – с полным ртом прошамкал Питер Лорре.

«Неуловимая иудейка». Ничего себе! Коротышка явно не улавливал, сколько в этой фразе пренебрежения и подозрительности.

– Неуловимая иудейка? – переспросил Стоун. – Это вы о ком?

– О фрау Штенгель, разумеется.

– Ну так и говорите.

Повисло короткое молчание.

– Значит, фрау Штенгель? – сказал Лорре. – Нашли ее?

– Нет.

– Что с ней случилось?

– Я так и не узнал.

– Еще одна безымянная жертва Холокоста?

– Видимо, так.

– Но теперь считаете, что она выжила?

Стоун помолчал, обдумывая ответ.

– С недавних пор позволил себе на это *надеяться*.

– С чего вдруг?

Изо всех сил Стоун старался подавить раздражение. Злость – плохая помощница. Особенно в общении с теми, кто сидит за столом под зеленой холщовой скатертью, на котором лишь чайные чашки и блок чистой желтой бумаги для записей.

– В чем дело? – спросил Стоун. – Не понимаю вашего интереса и почему вообще я должен отвечать.

– Все очень просто. – Толстяк разломил печенье и кусок побольше отправил в рот. – Если вы с нами сотрудничаете, вскоре отправитесь в путь-дорогу. Если нет, мы вас проволыним до второго пришествия. В Берлин попадете не раньше двухтысячного года, когда уже будете древним стариком, а сам город давно превратится в груду дымящихся радиоактивных развалин. Поэтому будьте благоразумны и отвечайте на вопросы. Почему теперь вы решили, что Дагмар Штенгель жива?

Стоун пожал плечами. Ладно, этот маленький боров и так все знает.

– Потому что она со мной связалась.

– Вот так вдруг?

– Да. Вдруг.

– Через семнадцать лет?

– Именно так.

– И вы уверены, что это фрау Штенгель?

Вот тут закавыка. Он уверен. Абсолютно. Почерк, интонация, детали… И все же…

Стоун уклонился от прямого ответа:

– Она сообщила, что так называемой «субмариной»[4] почти всю войну провела в Берлине. Но в июне сорок четвертого гестапо ее схватило и отправило в Биркенау. Ей удалось бежать.

– Скажите на милость!

– Такое случалось – редко, но случалось. Она воспользовалась бунтом зондеркоманды четвертого крематория и потом до конца войны сражалась вместе с польскими партизанами.

– Удивительная история.

Но вполне возможная. Несмотря на изящные манеры, Дагмар была тверда и решительна.

– Вижу, вам и самому трудно поверить. – Толстяк смотрел в упор. – Конечно, после стольких лет. Однако должен сказать, что все это правда. Во всяком случае, финал истории. Дагмар Штенгель жива-здорова и обитает в Восточном Берлине.

Обдало радостью, закружилась голова. Порой так бывало во сне, когда на берегу Ванзее ее руки в дождевых каплях обнимали не брата, а его.

– Откуда вы знаете? – Стоун постарался, чтобы голос не дрогнул.

– Мы много чего знаем.

Стоун грохнул кулаком по столу. Чашки задребезжали. Трубка допотопного телефона подпрыгнула на рычагах. Ведь это его личное дело. Его семья. Его жизнь. Как они смеют устраивать какие-то игрища!

– Откуда вам известно? – рявкнул Стоун. – Говорите!

– Есть источники. – Игнорируя эту пылкость, толстяк лениво занялся второй половиной печенья. – Конфиденциальные.

– Вы из МИ-6?[5]

– МИ-6 не существует, мистер Штенгель.

– Стоун! Моя фамилия Стоун. Уже целых пятнадцать лет!

– Ну да, вы ее сменили, верно?

Вновь легкая издевка. Уже не над немцем, который открестился от нацистов, а над трусливым жидом, переменой имени скрывшим свое еврейство. Но этим британцам все едино. Они спасли мир во имя благопристойности и честной игры, а не ради того, чтоб чертовы жиды невесть кем себя возомнили.

---

[4] «Субмарина» – прозвище немецких евреев, прятавшихся в подполье.

[5] МИ-6 (Military Intelligence, MI6) – государственный орган внешней разведки Великобритании. До принятия парламентом в 1994 г. Закона о разведывательной службе не имела никакой правовой базы, и ее существование не подтверждалось правительством Соединенного Королевства.

– Я сменил фамилию по приказу командования, – огрызнулся Стоун. – *Британской* армии. Попади я в плен, с немецкой фамилией, обычной для евреев, меня бы отправили в газовую камеру.

– Ладно, остыньте. – Коротышка покровительственно усмехнулся. – Нам это известно.

– Вам до черта всего известно.

– Стараемся.

– Потому что вы из МИ-6. Секретная служба.

– Ответить не могу, верно, мистер Стоун? Иначе это уже не будет секретом.

Питер Лорре ухмыльнулся и отер рот, явно довольный собственной шуткой.

Давно следовало догадаться. Уже по виду комнаты. Никакой обстановки, на столе только чашки, печенье, бумажный блок и телефон. Ни книг, ни брошюр, ни ежедневника. На стенах никаких таблиц, нет мусорной корзины и даже скрепок. Что ж это за контора? Даже в полицейском участке на стенах плакаты.

Да еще эта пара лицедеев. Один говорун, другой молчун. Ну да, классика. Жуткий трафарет. Как же он не догадался? Натуральные агенты.

И они четко сказали: Дагмар жива.

Вновь окатило радостью.

Она уцелела. Берлин. Лагеря. Гулаг. Все пережила и уцелела.

И в этом кошмарном мраке помнила о нем. О том, кто любил ее.

Кто любит и сейчас.

Кто всегда будет ее любить.

Близнецы
Берлин, 1920 г.

Фрида оказалась права: она выносила двух мальчиков, но в долгих и тяжелых родах выжил только один, другого удушила перекрученная пуповина.

– Сожалею, фрау Штенгель, – сказал врач. – Второй ребенок мертворожденный.

Потом ее оставили одну.

Не из тактичности, просто дел было невпроворот. Четыре года войны и вслед за ними брызжущая дрянью «революция» никому не оставили времени на деликатность, особенно медикам. Фрида, избежавшая послеродовых осложнений, понимала, что вскоре ее попросят из маленькой пустой палаты, выкрашенной желтым. Залежаться не дадут.

– Здравствуй, мой маленький, – прошептала Фрида. Где найти душевные силы приветствовать одного малыша и распрощаться с другим? – И до свиданья, мой маленький.

Она не хотела, чтобы радость встречи с живым дышащим существом, лежавшим на одной ее руке, утонула в слезах по безжизненному свертку, лежавшему на другой, однако иначе не получалось. Фрида знала, что будет вечно горевать по своему ребенку, нисколько не жившему.

– *Auf Wiedersehen*[6], милый, – выдохнула она.

Тусклая голая лампочка в сорок ватт, висевшая над кроватью, высвечивала бледное личико, сморщенное, как у старого китайца. Другой сверток подал голос: сначала тихонько мекнул, а потом закричал, ощутив силу своих легких. Фрида переводила взгляд с миниатюрной китайской маски смерти на голосившего малыша и обратно. Застывшая бледность небытия и краснота рассвета жизни, набиравшей яркость.

Auf Wiedersehen und guten Tag. Guten Tag und auf Wiedersehen[7].

Потом вернулся врач, а с ним старуха-сиделка, которая забрала у Фриды мертвого ребенка.

– Возрадуйтесь за него, фрау Штенгель, – сказала нянька, перекрестив безжизненный сверток. – Он избавлен от страданий на этом свете и сразу вкусит счастье мира иного.

Однако Фрида не возрадовалась. Она не верила в иной мир, она лишь изведала горести этого.

Потом заговорил врач:

– Неловко, что приходится вас тревожить, фрау Штенгель, когда утрата ваша так свежа. В соседней палате лежит молодая женщина. Вернее, лежала. Час назад она умерла. Вы потеряли ребенка, но остались живы, а та женщина умерла, тогда как ребенок жив… мальчик.

Фрида его почти не слышала. Она смотрела, как старая сиделка уносит прочь частицу ее души и тела. Не в обещанный лучший мир, а в кремационную печь больничного подвала. Никаких цветов, никаких молитв. В измученной передрягами стране избавление от покойников, даже самых невинных и крохотных, происходило автоматически. Девять месяцев содержимое свертка обитало в ее теле, а теперь за секунды превратится в пепел.

– Простите, доктор, что вы сказали? – спросила Фрида. – Мать и ребенок?

– Только ребенок, фрау Штенгель. Мать умерла в родах, отца тоже нет. Коммунист. Застрелен в Лихтенбурге.

Фрида знала о бойне в предместье Лихтенбурга. При полном попустительстве министра национальной обороны фрайкор согнал на улицы и расстрелял *тысячу* рабочих. Газеты лишь

---

[6] До свидания (*нем.*).

[7] Прощай и здравствуй. Здравствуй и прощай (*нем.*).

вскользь упомянули о происшествии – убийства, даже массовые, в Берлине считались обычным делом. Однако Фрида была из тех, кто следил за событиями.

– Покойница не ладила с родителями, – говорил врач. – Ребенок от «красного» был им не желанен, а теперь не нужен вовсе. Семья прозябает в нищете, ей ни к чему осиротевший ублюдок, пусть даже внук.

Фрида поняла, о чем речь, и тусклая лампочка над кроватью как будто вспыхнула ярче.

Безжизненный сверток может воскреснуть. Все хлопоты, вся любовь, которую они с Вольфгангом приготовили для двух малышей, будут не зряшные. Маленькая душа молила о любви. Ждала приюта. Значит, все-таки двойня. У Пауля будет Отто, у Отто будет Пауль.

– Я понимаю, фрау Штенгель, у вас горе, но, может быть, вы подумаете…

– Пожалуйста, принесите ребенка, – сказала Фрида, не дав врачу договорить. – Принесите моего сына. Я нужна ему.

– Наверное, следует посоветоваться с вашим мужем… – начал врач.

– Он хороший человек, доктор. И скажет то же самое. Принесите нашего второго сына.

Через минуту новый сверток угнездился на месте, которое так недолго занимал бледный старый китаец. Обитатель свертка был красен, слюняв и горласт, как его новообретенный братец. В каждой руке по здоровому малышу. Как будто время на час замерло и Фрида только что разрешилась от бремени.

– *Guten Tag und guten Tag*, – прошептала она.

Хорошо отлаженная процедура усыновления прошла как по маслу. В 1920 году Германия ощущала нехватку молодых мужчин, однако после войны и пандемии гриппа не знала недостатка в сиротах, и больница постаралась избавиться от еще одного бедолаги. Вольфганга выдернули из очереди за мясом, и все необходимые бумаги были оформлены, не успело у Фриды появиться молоко. Тотчас прибыли дед и бабка с материнской стороны и подписали отказ от внука, на него даже не взглянув. Мрачно пожелав Фриде и Вольфгангу удачи, они навсегда исчезли из их жизни. Прежде чем высохли чернила.

Вот так сбылись все планы и Фридино предсказание. Их стало четверо: Фрида, Вольфганг и два мальчика, Пауль и Отто. Отто и Пауль. Два сына, два брата – равно желанные, равно любимые. Равные во всем.

Одинаковые.

Правда, не совсем.

Было одно отличие. Почти неважное. Для Фриды и Вольфганга абсолютно не существенное. Однако со временем оно стало вопросом жизни и смерти. Один ребенок – еврей, другой – нет.

Еще одно дитя
Мюнхен, 1920 г.

В тот самый день, 24 февраля 1920 года, когда родились братья Штенгели, в сотнях километрах от Берлина, в мюнхенской пивной «Хофбройхаус», на свет появился еще один младенец. Как все новорожденные (Пауль и Отто не исключение), он был неугомонен и криклив. Поняв, что обладает голосом и кулаками, первое он использовал лишь для плача и воплей, а второе – для потрясания в воздухе, ибо окружающий мир ему не нравился.

Большинство младенцев вырастают. Обретают разум и совесть, приноравливаются к обществу. Но только не дитя по имени Национал-социалистическая немецкая рабочая партия, в тот день воссозданное из пепла прежнего неудачного воплощения. Крикливый голосок и сучащие кулачки принадлежали новоиспеченному партийному лидеру – капралу из политчасти Баварского рейхсвера. Звали его Адольф Гитлер, и был ему тридцать один год.

В тот судьбоносный вечер наряду с переименованием партии Гитлер огласил двадцать пять пунктов, которым надлежало стать «неотъемлемой» и «незыблемой» основой партийной программы. Большую часть – подачку из квазисоциалистических принципов – сам лидер и его быстро растущая партия благополучно забыли. Но вот некоторым пунктам Гитлер был самозабвенно предан до последнего вздоха. Объединение всех народов, говорящих по-немецки. Полная отмена Версальского договора. И главное – «разобраться» с евреями. В холодный мартовский вечер был представлен гвоздь программы: осипший от трехчасового выступления, нищий безвестный солдафон, потрясая кулаками и брызжа слюной, искрившейся в прокуренном зале, известил собрание о том, что евреи – источник всех германских недугов, и он, Адольф Гитлер, станет для них заклятым врагом. Всех евреев лишит немецкого гражданства. Ни один еврей не будет принят на государственную службу. Не сможет выступать в печати. И всякий еврей, прибывший в страну после 1914 года, будет немедленно депортирован.

Толпа ревом одобрила эту пьянящую галиматью. Наконец-то отыскался человек, знавший, почему Германия проиграла войну. Почему вместо того, чтобы победителями жировать в Париже и Лондоне, славные немцы нищенствовали в Мюнхене, перебиваясь на пиве и махорке.

Проклятые жиды. Пусть они составляют всего 0,75 процента населения, во всем виноваты дьявольски хитрые евреи, и вот нашелся человек, который прищучит этих сволочей.

В тот вечер 1920 года никто, даже сам Гитлер, не представлял, как далеко зайдет дело.

Отмена операции
Берлин, 1920 г.

Судьбоносное решение – не делать мальчикам обрезание – Фрида и Вольфганг приняли по весьма странной и даже нелепой причине: реакционные фанатики попытались захватить власть в стране. Неудачно.

– Чистой воды дадаизм, – позже шутил Вольфганг (а мальчики, забившись в угол, пунцовели от того, что родители при гостях заводят разговор об их пенисах). – Безоговорочно сюрреалистическая алогичность. В Берлине какой-то идиот воображает себя Муссолини, из-за чего мои парнишки остаются, фигурально выражаясь, с довеском. Вот вам и хаотическая случайность совпадений. Жизнь имитирует искусство!

Конечно, они *собирались* обрезать мальчиков.

– Надо это сделать, – сказала Фрида, когда новорожденных привезли домой. – Для моих родителей обряд очень важен.

– Моим было бы все равно, но, полагаю, могущественный род Тауберов не учитывает мнения покойников, – ответил Вольфганг.

Год назад его родители умерли. Подобно миллионам европейцев, они уцелели в войне, чтобы погибнуть от гриппа.

– Не надо, пожалуйста, опять перемывать кости моему отцу, – твердо сказала Фрида. – Давай сделаем, и все. Тебе же это ничуть не повредило.

– Поди знай! – с наигранным сладострастием простонал Вольфганг. – Еще неизвестно, какой небывалой мощью я бы обладал, будь мой шлем с забралом!

Фрида одарила его своим «особым взглядом». Недавнее разрешение от бремени не располагало к сальным шуточкам.

– Договорись с раввином, ладно? – сказала она.

Вольфганг зря тревожился, ибо судьбе было угодно, чтобы обрезание не состоялось. В день, традицией определенный к обряду, в квартире не было воды.

Обкаканным младенцам срочно требовалась помывка, и родители посадили их в кухонную раковину, но водопроводные краны откликнулись лишь далеким хрипом.

– Воду отключили, – сообщила Фрида.

– Говенно, – сказал Вольфганг и, уныло глянув на измаранных малышей, добавил: – Даже очень.

Близнецы еще не умели говорить, но вмиг учуяли кризисную ситуацию и, сочтя своим долгом ее усугубить, заорали как резаные.

– Почему именно у нас! – перекрикивая ор, возопила Фрида, но вообще-то воду отключили во всем городе. А также электричество. И газ. Не ходили трамваи, не работали почта и полиция. Вся городская инфраструктура, худо-бедно пережившая войну и два последующих года повального дефицита и уличных боев, вдруг напрочь замерла.

Из-за мятежа огромный город остался без всех современных удобств. Во главе бригады пресловутого фрайкора политическая пустышка по имени Капп[8] промаршировал к Бранденбургским воротам и, захватив Президентский дворец на Вильгельмштрассе, провозгласил себя новым германским вождем, которому все должны подчиниться. В ответ профсоюзы объявили всеобщую забастовку и, отключив коммунальные службы, погрузили Берлин в грязный зловонный застой. У Фриды с Вольфгангом не было воды для младенцев, а у бездари Каппа не было

[8] Вольфганг Капп (1858–1922) – немецкий политик, государственный служащий, в 1920 г. был организатором путча, после провала которого бежал в Швецию.

бумаги для прокламации, извещавшей Германию, что под его твердым руководством нация вновь обрела силу.

Конечно, родители двух срыгивающих и испражняющихся отпрысков больше всего томились по воде. Из уличных колонок удавалось нацедить только на питье, на помыв уже не хватало.

И вот когда в оговоренный день Фридин отец привел ребе Якобовица, обладателя чемоданчика с присыпками и видавшими виды инструментами, Фрида не подпустила раввина к малышам.

– Побойся бога, папа, это ведь операция, – сказала она возмущенному родителю. – Хирургическая процедура, требующая соответствующей гигиены.

– Не глупи, – отмахнулся отец. – Чик – и все, лишь капелька крови.

Напрасно старый ребе уверял, что за все годы не потерял почти ни одного младенца, что регулярно чистит зажим, лезвие и коробок с присыпкой, а перед действом протирает спиртом заостренный ноготь своего большого пальца. Фрида была непреклонна.

– Нет и нет. Пока не дадут воду. И потом, что худого в крайней плоти?

– Фрида! – вскинулся герр Таубер. – Перед ребе!

– Именно что перед ребе, – из угла подал голос Вольфганг. Лишенный возможности сварить кофе, он, несмотря на ранний час, угощался шнапсом. – Может, он сумеет прояснить вопрос. Чем плоха крайняя плоть?

Герр Таубер рассыпался в извинениях, но раввин глубокомысленно заявил, что охотно вступит в теологическую дискуссию.

– И сказал Азария, – распевно начал он, выкладывая свой потрепанный инструментарий на столь же затрапезную старую тряпицу, – что крайняя плоть мерзка, ибо суть знак греховности. Та к заповедано мудрецами.

– Ага, теперь гораздо яснее, – ухмыльнулся Вольфганг.

– Крайняя плоть мерзка? – переспросила Фрида.

– Так заповедано, – важно повторил ребе Якобовиц.

– Известным специалистом по пенисам, – присовокупил Вольфганг.

– Так сказано в Вавилонском Талмуде, – серьезно пояснил старик, не замечая сарказма собеседника.

– Черт! Я все собирался его прочесть.

Герр Таубер вновь попытался встрять:

– Фрида, дорогая, в крайней плоти нет ничего худого, когда она на своем месте. – Тон его был нарочито примиренческим, но взгляд испепелял зятя.

– Именно, папа! На своем месте. Где же ей лучше, как не на конце пениса?

– Это временное пристанище, дорогая, – не унимался отец. – Временное. Господь ее туда поместил, дабы потом ее удалили.

– Но это же нелепица, папа! То есть, я прошу прощения, ребе, не сочтите за неуважение и все такое, но если вдуматься: какой смысл во всей этой затее?

– Неочевидность повода еще не означает ненужности дела, – ответил ребе, с готовностью принимая от Вольфганга стаканчик шнапса.

– Именно! Вот видишь! – возликовал герр Таубер, словно раввин изрек великую и неоспоримую мудрость. – Фрида, есть такая вещь, как традиция, и отказ от нее гибелен. Если из фундамента выбить все камни, дом непременно рухнет.

Вольфганг взял малышей в охапку и пристроил к себе на колени:

– Слыхали, ребята? На ваших херках зиждется здание.

– Заткнись, Вольф! – прошипела Фрида, не сдержав, однако, улыбки.

– Да будет вам, папаша! – не унимался Вольфганг. – Чего так усердствуете? Не так уж вы набожны. Когда последний раз были в синагоге?

– Мы делаем что положено, – рыкнул герр Таубер, а раввин, важно кивавший на каждую реплику, не отказался от второго стаканчика. – Точно так же православный грек дымит ладаном, а католик жует облатку, прекрасно сознавая, что это не тело Христово. Так положено. И это достаточный повод. Традиция связывает человека с его прошлым. Чтит старейшин и создает основу. Благодаря традиции Германия стала великой державой.

Вольфганг опять фыркнул.

– Нет никакого величия, Константин. – Он прекрасно знал, что тесть не выносит этого панибратского обращения, предпочитая «герр Таубер» или «папа». – Германия – немощный банкрот, оголодавший полоумный калека. Будь она собакой, ее бы стоило пристрелить.

Константин Таубер вздрогнул. В 1914 году ему было далеко за сорок, однако он отличился в Великой войне и заслужил Железный крест, всегда украшавший его военную форму, а при малейшем поводе и цивильное платье.

– Ты со своими левацкими дружками хоть в лепешку расшибись, но Германия была и вновь станет великой, – гневно сказал герр Таубер.

– Вольфганг не левый, папа, просто он любит джаз, – вмешалась Фрида.

– Это одно и то же, – ответил Таубер. – Только левак откажет сыновьям в их наследном культурном праве.

– Что? При чем тут херки? – удивился Вольфганг. – Еще какое-то право приплел.

– В присутствии моей дочери и раввина прошу следить за выражениями! – прогремел Таубер.

– Я у себя дома, приятель, и говорю что хочу.

– Хватит! – рявкнула Фрида. – Только что я родила двойню. Нет воды. Нет тепла. Нет света и продуктов. Нельзя ли вопрос крайней плоти перенести на потом?

Раввин печально покачал головой:

– Потом не годится, фрау Штенгель, ибо обрезание должно совершаться на восьмой день, если нет угрозы здоровью ребенка, – так сказано в Писании.

– Есть угроза здоровью, – заявила Фрида. – Воды-то нет.

– Три тысячи лет мы обходились без воды, а равно тепла и электричества, – ответил ребе Якобовиц. – Боюсь, дорогая, вопрос стоит так: сейчас или никогда.

– Значит, никогда, – отрезала Фрида. – Пока не дадут воду, обряда не будет.

– В таком случае, твердая рука больше не требуется, – оживился Якобовиц. – Герр Штенгель, позвольте обеспокоить вас на предмет шнапса.

Вольфганг печально взглянул на ополовиненную бутылку, однако традицию гостеприимства он чтил.

Когда на лестнице стихли неуверенные шаги ребе и поступь герра Таубера, супруги посмотрели друг на друга и усмехнулись, но невесело: каждый знал, о чем думает другой.

– Может, сейчас-то и надо было сказать, – вздохнула Фрида.

– Я хотел огорошить старого хрыча, ей-богу, – сказал Вольфганг. – Когда он разорялся о традиции и наследном праве, меня прямо подмывало известить, что один его внук – наследие католички и коммуниста.

– Если честно, я рада, что ты не сказал.

– Все не мог выбрать подходящий момент.

– Понимаю. Это непросто. А теперь, наверное, уже и поздно.

Вольфганг и Фрида вовсе не собирались делать тайну из усыновления. Они хотели тотчас обо всем рассказать друзьям и родственникам. Стыдиться было нечего, наоборот, они гордились собой и сыном. Обоими сыновьями.

Но как-то упустили момент.

– А вообще, кому какое дело? – сказала Фрида. – Нам-то это совсем неважно, мы даже не вспоминаем.

– Абсолютно, – согласился Вольфганг. – Хотя я думал, что буду вспоминать.

– Странно, мне кажется, что ничего и не было. Тот сверточек унесли, потому что так всегда и бывает, обычная кутерьма. Было два мальчика, потом один ненадолго исчез и вернулся. Из трех маленьких душ получились две души, вот и все.

Супруги взглянули на спеленатых младенцев, бок о бок спавших в одной кроватке.

– Пусть ничто не отделяет их друг от друга и от нас с тобой, – сказала Фрида. – Мы семья, и если всем все объяснять, то получится, что для нас это важно, хотя глупости все это. Зачем кому-то знать? Кому какое дело?

– Бумаги-то в больнице сохранились, – напомнил Вольфганг.

– Вот пусть там и лежат. Это никого не касается, кроме нас.

Плач и крик
Берлин, 1920 г.

Мятеж, известный как путч Каппа, длился меньше недели. Продрогший Берлин стоял в очередях к колонкам, источавшим струйки ледяной воды, а мнимый диктатор Капп пять дней слонялся по Президентскому дворцу и затравленно выглядывал на Вильгельмплац, гадая, как подчинить народ своей несгибаемой воле. В конце концов он решил, что задача невыполнима, а потому взял такси до аэропорта Темпельхоф и самолетом отбыл в Швецию, навеки распростившись с постом главы государства.

Берлин возликовал, и на Унтер-ден-Линден собралась многотысячная толпа, желавшая посмотреть на войско фрайкора, которое менее недели назад триумфально промаршировало под Бранденбургскими воротами, а нынче двигалось в обратном направлении.

Фрида и Вольфганг решили поучаствовать в празднике.

– Для Берлина это великий день, – возбужденно говорила Фрида, с коляской пробираясь сквозь толпу. – Не так часто кроха рабочей солидарности берет верх над военными. Сплоченность – больше ничего и не надо.

– Кроме как выпить, – ответил Вольфганг, увидев ларек, торговавший пивом и жареной картошкой. – Гулянка все же.

И впрямь, вокруг царило веселье. В толпе рыскали лоточники, бессчетные уличные музыканты зарабатывали пфенниги. Однако с приближением отступавших вояк, о котором извещал грохот тысяч кованых сапог, в ногу чеканивших шаг по мостовым Шарлоттенбургер-шоссе и Унтер-ден-Линден, праздничное настроение толпы сменилось мрачной угрюмостью.

– Черт! – обеспокоенно шепнул Вольфганг. – Немецкие солдаты минуют Бранденбургские ворота в гробовом молчании. Небывало.

– Они не солдаты – они ополоумевшие бандиты, – ответила Фрида.

– Не нравится мне это, – занервничал Вольфганг. – Как-то все нехорошо.

– Теперь уже поздно, – сказала Фрида.

Вцепившись в коляску, они смотрели на ненавистные шеренги, маршировавшие меж громадных каменных колонн знаменитых ворот Фридриха Вильгельма[9]. Изнуренные озлобленные лица. Что бы ни говорила Фрида, в строю шли солдаты в старой армейской форме и угольно-черных стальных касках.

– Смотри, кое у кого на шлемах странные перекошенные кресты, – шепнул Вольфганг. – Что это?

– Не знаю, – ответила Фрида. – Кажется, индийский знак.

– *Индийский?* – прыснул Вольфганг, забыв о серьезности момента.

– Да, буддийский или индусский, точно не знаю. По-моему, называется «свастика».

– *Буддийский?* – недоверчиво переспросил Вольфганг. – Ни хрена себе!

Толпа замерла. Молчание ее оглушало, как и грохот сапог.

Позже Фрида говорила, что это было восхитительно. Презрительное молчание огромного города казалось выразительнее всякого шума и криков. Нет, не соглашался Вольфганг, с самого начала было жутко. Народ молчал от страха. От ужаса перед тем, на что способны маршировавшие солдаты. Что может произойти.

И что произошло.

---

[9] Фридрих Вильгельм II (1744–1797) – король Пруссии с 1786 г., сын Августа Вильгельма и Луизы Амалии Брауншвейг-Вольфенбюттельской, племянник Фридриха II Великого. Бранденбургские ворота в 1788–1791 гг. по его заказу возводил архитектор Карл Готтгард Лангганс (1732–1808).

Все началось, когда солдатский строй почти иссяк. Голова колонны уже достигла моста через Шпрее. Каждый сам по себе: мрачная толпа безмолвствовала, солдаты чеканили шаг. Эдакое странное перемирие.

А потом неподалеку от Вольфганга и Фриды, оберегавших коляску, крикнул мальчишка.

Высокий ломкий голос перекрыл гулкий грохот сапог. Наверное, будь мальчишка постарше, а голос его чуть ниже, никто бы его не услыхал, крик затерялся бы в ритмичной поступи.

Но мальчишке было не больше двенадцати-тринадцати.

– Проваливайте, тупые козлы! – крикнул он. – Влада Ленина – в немецкие канцлеры!

Тотчас двое покинули строй и выдернули пацана из толпы. Народ потрясенно замер, и лишь какая-то женщина вскрикнула, когда прикладами винтовок солдаты сбили мальчишку наземь, первым же ударом вышибив ему зубы. Двое, мужчина и женщина, кинулись на помощь погибавшему ребенку и вцепились в винтовки, взлетавшие цепами.

– Твою мать! – крикнул Вольфганг. – Хватай детей! Подними над головой! Скорее! Скорее!

В мгновение ока безмолвная толпа превратилась в разъяренного зверя. Задние ряды напирали, передние пятились. Едва Фрида и Вольфганг успели выхватить малышей из коляски, как ее опрокинули и затоптали.

– Уходим! Назад! – рявкнул Вольфганг. – Ради бога не споткнись!

Подняв малышей над головой, перепуганные супруги пытались уйти от беды и пробивались сквозь толпу искаженных яростью лиц, рвавшихся беде навстречу.

– Пропустите! – закричала Фрида. – У нас дети!

Кое-кто пытался дать им дорогу, но ослепленная яростью толпа, возомнившая, что числом одолеет вымуштрованных солдат, напирала. И вскоре грянул кошмар, развеявший это заблуждение.

Резкий голос выкрикнул команду, следом пропел горн. Солдатский строй мгновенно остановился, а затем столь же согласованно развернулся лицом к разгоряченной толпе. Вновь гавкнула команда, поддержанная горном, и мышастая шеренга лязгнула, ощетинившись вскинутыми к плечу винтовками.

В этот миг кошмар мог бы закончиться. Толпа замялась. Бессчетные зрачки ружейных дул и зловещий унисон передернутых затворов сбили порыв безоружных людей, и те осадили назад. Все могло бы прекратиться. Мальчишка, дерзнувший оскорбить могущественный фрайкор, был мертв, а возможные мстители обузданы.

Но это Германия. Берлин двадцатого года, и джинн насилия, выпущенный из бутылки, уже *никогда* не вернется назад, даже если пробку лишь чуть-чуть приоткрыли.

– Огонь! – выкрикнул голос.

Горн уже не потребовался, ибо следом за командой грянул залп, и град пуль устремился в головы и сердца ошеломленных горожан.

Убитые рухнули на мостовую, за криками уже никто не расслышал идеально отработанного ритма клацнувших затворов.

– Огонь! – вновь тявкнул голос, и град пуль обрушился на спины беспорядочно отступавшим людям.

Третьего залпа не было. Голос невидимки пощадил беззащитную толпу, но сотни человек уже были убиты и еще больше погибнет в слепой панике бегства.

Семейство Штенгелей всего на пару шагов опередило эту панику, за секунду до первого залпа выбравшись из толпы. Безусловно, сообразительность Вольфганга спасла жизнь Паулю и Отто и, наверное, ему самому и Фриде, но еще километра два они бежали без оглядки.

У Бранденбургских ворот остались войско и его жертвы. По очередной команде солдаты перестроились в колонну и покинули город.

Наутро ненадолго свергнутая власть вернулась к своим обязанностям и в дома дали воду.

Предложение
Лондон, 1956 г.

Стоун дважды сглотнул и лишь потом ответил.

Только он начал свыкаться с мыслью, что после многих лет безвестности Дагмар оказалась жива, и вот – извольте.

– Шпионка? Моя невестка – шпионка? Знаете, это… – Стоун поискал подходящее слово и не нашел: – Очень странно.

– Ладно, пусть не шпионка, – уступил пухлый коротышка, которого Стоун окрестил Питером Лорре. – Ну что, сварганим свежего чайку?

– Подите к черту с вашим чайком! – рявкнул Стоун. Чертыханье с легким «инородным» акцентом прозвучало весьма чудно и деланно. – Что значит – пусть не шпионка? Шпионка или нет?

– Скажем так: она определенно работает на восточногерманскую тайную полицию, – ответил Лорре. – Это известно наверняка. Ваша невестка – сотрудница Штази.

Штази. От одного лишь слова дыбились волоски на теле. До самого смертного часа Стоун будет покрываться мурашками при упоминании всякой немецкой полиции. Он не переваривал даже безвредных западногерманских полицейских – улыбчивых косматых юношей в нежно-зеленой форме с подчеркнуто невоенными знаками различия. А Штази – вообще новое гестапо. Стоун, работавший в министерстве иностранных дел, был наслышан о деятельности этой организации. От одного ее названия подступала тошнота.

Старый враг воскрес.

Штази. И звучит-то как «наци».

– Вы ошибаетесь, – сказал Стоун. – Явно ошибаетесь. Просто не верится, что женщина, которую я хорошо знал, служит… в этой организации.

– Еще как служит. Не сомневайтесь. – Впервые за весь допрос заговорил второй следователь. Тот, кого Стоун окрестил Хамфри Богартом. Правда, у настоящего Богарта никогда не было йоркширского выговора. – Дагмар Штенгель, урожденная Фишер, работает на Штази. Вот потому-то нас и заинтересовало, что она с вами связалась. Как по-вашему, почему она ищет контакта с вами, мистер Стоун?

Речь его, мягкая и типично английская, полная дружелюбных гласных, напомнила радиовыступления Дж. Б. Пристли[10] во время войны. Однако смысл ее не имел ничего общего с мягкостью и дружелюбием.

– Она моя невестка, – сказал Стоун.

Богарт лишь улыбнулся, предоставив ответить Питеру Лорре.

– Да, ваша невестка. – Толстяк обмахнул крошки с галстука. – И родственная привязанность ее так сильна, что на весточку понадобилось семнадцать лет. Вы же, получив сию весточку, в подлинности коей даже не вполне уверены, тотчас намылились в Восточный Берлин, хотя должны понимать, что при вашей должности это вызовет недоумение определенных ведомств.

– А что моя должность?

– Бросьте, Стоун! – рыкнул Лорре. – Вы служите в министерстве иностранных дел. В *немецком* отделе.

Стоун промолчал. Тут, конечно, их можно понять.

---

[10] Джон Бойнтон Пристли (1894–1984) – английский романист, эссеист, драматург и театральный режиссер. Во время Второй мировой войны работал на Би-би-си. Его воскресная вечерняя программа «Постскриптум» (1940–1941) собирала около 16 миллионов слушателей.

– Просто нам кажется, – йоркширский голос был негромок и спокоен, – что министерский чиновник среднего звена ведет себя слегка опрометчиво, загоревшись желанием пообщаться с сотрудницей Штази, пусть даже родственницей.

– Но я не знал, что она служит в Штази! Признаюсь, я удивлен, что вы считаете Дагмар… В юности политика ее ничуть не интересовала.

– Если живешь в Восточной Германии, ты коммунист либо им притворяешься, – сказал Питер Лорре. – Наверное, властям без разницы. И потом, Красная армия выступила освободительницей. Видимо, девушка ей за это благодарна.

– Судя по тому, что в сорок пятом творила Красная армия, продвигаясь на запад, мало у кого из немок есть повод для благодарности.

– Но ваша невестка – еврейка.

– А Советы всегда обожали евреев, верно? – с горьким сарказмом сказал Стоун. – Вам не хуже меня известно, как с ними обращался НКВД. Кремлевские волки мало чем отличались от нацистов.

– Вот мы и подошли к сути, – улыбнулся Богарт.

– Она имеется? Если не считать, что меня фактически обвинили в предательском умысле.

– Да, имеется. Невестка ваша не вполне годится для Штази уже потому, что структура эта сплошь антисемитская.

– Вот почему… – начал Стоун.

– Однако Дагмар Штенгель определенно в числе сотрудников, – перебил Питер Лорре, предвосхищая возражение. – В чем нет никакого сомнения. Абсолютно никакого. Как только она вам написала, мы ее провентилировали.

Дагмар и Штази – представить ужасно, однако возможно. Девушка, которую знал Стоун, не интересовалась политикой, но была умна, тверда и целеустремленна. Дагмар уцелела в войне, и кто знает, какой кошмар она пережила за все эти годы. На какие компромиссы шла. Как сильно переменилась.

– Сдается нам, еврейка, работающая в Штази, будет сотрудничать с кем угодно. – Богарт говорил все так же спокойно, почти равнодушно. – И мы подумали: раз уж вы туда собираетесь, может, попробуете ее завербовать?

Он улыбался. Будто просил о любезности – передать гостинец или вернуть книгу.

Новая модель
Берлин, 1921 г.

– Хочешь сказать, ты разденешься? – спросил Вольфганг. – Перед этим хмырем?

– Если попросят, а я думаю, герр Карлсруэн попросит. – Фрида кокетливо тряхнула темными густыми волосами, недавно остриженными. – Нимфы не очень-то кутаются.

На кухонном столе Вольфганг перепеленывал Пауля. Он взял сына за ножки, чтобы подтереть ему попку, но сейчас так возмутился, что едва не взмахнул ребенком.

– Так вот, я не хочу, чтобы ты этим занималась, – сказал Вольфганг. – Больше того, я… запрещаю.

Фрида от души рассмеялась над этой безнадежной попыткой проявить мужнину власть, но смех ее утонул в пронзительном вопле Пауля, решившего, что возня с его попой затянулась и пора бы отпустить его ноги.

Отто мгновенно поддержал брата, ибо малыши уже смекнули, что на пару легче создать идеальный бедлам.

– Видишь, что ты наделал! – укорила Фрида.

– *Я* наделал? – возмутился Вольфганг. – Малыш рыдает, потому что мамочка его нацелилась в стриптизерши.

– В *модели*, Вольф!

– В *обнаженные* модели, Фрида!

Закончив пеленание, Вольфганг почти швырнул Пауля в кроватку к братцу, отчего мощность воплей удвоилась, и Фриде пришлось минут десять укачивать малышей, напевая «Коник скок-скок». Братья очень любили эту песенку и, хоть еще не разговаривали, похоже, все понимали, поскольку особенно веселились на куплете, в котором упавшего бедолагу-коника клевали вороны.

– Послушай, Вольф, позировать обнаженной – легкая работа, которая даст деньги.

– Нам много не нужно.

– Ах, не нужно? – Не дожидаясь ответа, Фрида в два шага пересекла крохотную кухню и распахнула дверцы стенного шкафика, прозванного кладовкой. Кроме специй и приправ на полках лежали два кусочка сыра и колбасы, несколько морковок, пять довольно крупных картофелин и полбуханки черного хлеба. Помимо перечисленной провизии на подоконнике в миске с водой стояла бутылка молока, а над раковиной – банки с молотым кофе и сахаром.

– Это все, Вольф, – сердито сказала Фрида. – Весь наш провиант до той поры, пока ты не найдешь себе оркестр или мы опять не пойдем клянчить у моих родителей. Я студентка, ты, по сути, безработный, но у нас дети, которых надо кормить! Нам нужны деньги, и если какой-то дурак согласен платить за то, чтобы на пару часов я покрылась мурашками, я обеими руками ухвачусь за его предложение.

– Скорее он обеими руками ухватится за тебя.

– Он *художник*, Вольф. К тому же богатый. Платит бешеные деньги.

– Не нуждаемся мы в его деньгах. Проживем, – надулся Вольфганг. – Чай, не голодаем.

– Именно, Вольф. Всего лишь не голодаем. Чем тут гордиться? Не голодаем! Надо же, какая высокая планка! А мне вот хочется жить чуть лучше этого «не голодаем». Хотелось бы по выходным позволить себе пирожное, хотелось бы побольше молока детям, и если для этого нужно три раза в неделю раздеться, то пусть всякий берлинский скульптор увековечит в мраморе мой зад, я не возражаю.

Вольфганг насупился, но промолчал.

По линолеуму шмыгнула крыса. Вольфганг злобно швырнул в нее башмаком.

Промазал, но шумом разбудил Отто, и малыш опять заплакал. Потревоженный Пауль вскинул руку и оцарапал брата ногтями, которые Фрида уже твердо наметила остричь вечером. Естественно, Отто завопил как резаный, и Пауль, следуя негласным братским правилам, его поддержал.

Мир был восстановлен лишь после того, как Фрида дала сыновьям грудь, за что беспрестанно себя корила. Она желала хоть как-то упорядочить свою безалаберную жизнь и всерьез пыталась отлучить детей от груди, памятуя слова патронажной сестры о том, что кормление грудью дольше девяти месяцев – прямой путь к неразберихе и кладезь всевозможных злосчастий.

К удивлению Фриды, Вольфганг нарушил угрюмое молчание не покаянием, но очередными нападками на ее новую работу.

– Я не особо возражал, когда ты позировала в художественном училище, – сказал он. – Это еще приемлемо.

– Ох ты! Значит, полсотни человек могут видеть меня голой, а один – нет? Так, что ли?.. Ой, зараза! – вскрикнула Фрида. Прорезавшиеся зубки – тоже повод поскорее отлучить малышей от груди.

– Да, вот именно! – выкрикнул Вольфганг. – В этой чертовой студии ты будешь наедине с похотливым старикашкой.

– И зарабатывать впятеро больше против училища.

– Но *чем*? На что он рассчитывает? Вот что хотелось бы знать.

– Он рассчитывает на титьки и задницу, Вольф! – прошипела Фрида, пытаясь одновременно крикнуть и не шуметь. – Чего у меня в избытке, поскольку близнецы накинули мне десяток кило. Надо же, в день съедаю *корочку хлеба*, а похудеть не получается.

– Но почему *твои* титьки и задница? Вот что мне интересно, – не желал сдаваться Вольфганг. – Что он в тебе нашел?

– Ну, спасибо огромное!

– Значит, запал на тебя.

– Говорю же, он художник, Вольф, натурщицы нужны ему для вдохновения, но при нехватке мяса и масла все его прежние девушки растеряли свои прелести. А я вот, видно, сохранила.

– Прелести? Это он так сказал? *Прелести?* Свинья пакостная!

Однако Вольфганг понимал, что скульптор, черт бы его побрал, прав.

Мужики всегда оборачивались на Фриду: по-девичьи открытое лицо с широко посаженными глазами и аккуратным вздернутым носиком, темно-каштановые блестящие волосы, ладная спортивная фигура, считавшаяся «современной», и вместе с тем пышная грудь. За беременность Фрида слегка пополнела в бедрах, что ничуть ее не портило.

– Помимо всего прочего, – сменил тактику Вольфганг, – он неописуемо паршивый художник.

– Викторианский реалист.

– А я о чем? Нет, ей-богу, что толку в реализме? Есть же фотоаппарат. Иди снимай! На выдержке в одну сотую секунды он гораздо лучше все запечатлеет.

– Многим нравится реализм.

– Идиотов хватает.

Фрида уложила детей и грохнула кастрюлю с водой на плиту:

– Я не собираюсь продолжать этот дурацкий разговор.

– Больше тебе скажу…

– Я не слушаю.

– Карлсруэн – законченный реакционер. Я читал его интервью. Вообрази, он поддерживает «Штальхельм»![11]

– И что? А был бы коммунистом, имел бы право пялиться на мои титьки?

– Пожалуй, нет, – уступил Вольфганг. – Другое дело, будь он экспрессионистом или сюрреалистом.

– Ты совсем ополоумел, Вольф.

– Ах, это я ополоумел? Ладно, тогда скажи: не собирается ли твой драгоценный Карлсруэн всучить тебе копье и крылатый шлем?

Фрида замялась. Муж попал в точку. Ей самой казалось смешным и слегка диким, что она, молодая еврейка, будет изображать дух немецкого народа, опасаясь, как бы не закапало молоко из грудей.

– Ну… да, – улыбнулась она. – Копья и шлемы поминались, верно.

– *Крылатый шлем*.

– Ну иногда. В образе Рейнской девы.

Теперь и Вольфганг чуть усмехнулся:

– Значит, будешь стоять совсем голая, но в *крылатом шлеме*?

– По-моему, я уже сказала.

– Но ведь Рейнские девы – нимфы, нет?

– В данном случае нимфы в шлемах.

– Для нимф как-то не очень.

– С этим к герру Карлсруэну. Слушай, Вольф, рассуди трезво. – Фрида хотела помириться. – Если он считает, что я похожа на дух немецкой женщины, хрен-то с ним. Говорю же, он платит по высшей ставке, а всего-то нужно – замереть и слушать Вагнера.

– Тебя надо озолотить уже за то, что слушаешь эту дрянь.

– Я не против умеренной дозы Вагнера.

– Он был отъявленный антисемит.

– При чем тут его музыка?

– При том, что он был дерьмовый композитор и поганый человек.

– Не всем же быть крутыми джазменами. Изредка кто-то должен сочинять мелодию. Ты уж совсем сдурел.

– Обращаю твое внимание, что не я планирую поставить тебя голой в шлеме! Пораскинь мозгами. Голая. Но в шлеме. Никакой логики. Или публику прошибешь только Асгардом?[12]

– Кто это у нас ратует за реализм? – Фрида занялась грудой мокрого белья в ведре.

– Твой ваятель обитает в самом лихорадочном и безумном городе Европы. Тут в каждой студии найдется сумасшедший гений, нарушающий все законы формы, а этот хер желает увековечить в камне «Кольцо нибелунга».

Фрида выудила из ведра мокрое махровое полотенце и стала отжимать его в валках.

– Ты жалкий и самодовольный законченный реакционер наоборот, – сказала она. – Ей-богу, это противно.

– Крути давай, – ответил Вольфганг. – Карлсруэну понравятся твои мышцы. Глядишь, произведет тебя в Брунгильды[13].

– Знаешь, в искусстве не один стиль. – Стиснув зубы, Фрида крутила неподатливую ручку. – Не все хотят любоваться картинами с младенцами на штыках и безногими солдатами, столь милыми твоему сердцу. Нельзя всем быть Жоржем Гроссом или Отто Диксом[14].

---

[11] «Штальхельм» (*нем.* «Стальной шлем») – монархическая организация немецких фронтовиков Первой мировой войны.

[12] Асгард – в скандинавской мифологии небесный город, обитель богов-асов.

[13] Брунгильда – супруга Гунтера, короля Бургундии, героиня германо-скандинавской мифологии и эпоса; персонаж оперы Вагнера «Валькирия» из тетралогии «Кольцо нибелунга».

[14] Жорж Гросс (Георг Эренфрид Гросс, 1893–1959) – немецкий живописец, график и карикатурист, один из основателей

– Оба – гении. Джаз на холсте. Такие как Карлсруэн и его дурацкий «Штальхельм» вопят о возвращении былого величия Германии. Она *уже* великая. В Берлине, в сотне метров от нас с тобой, происходит такое, что даже не снилось Парижу и Нью-Йорку.

– Послушай себя – что ты городишь! – сказала Фрида. Вода из выжатых пеленок ручьем лилась в поддон. – Ты еще больший шовинист, чем «Стальные шлемы». Ах-ах, в искусстве мы переплюнули треклятых чужеземцев. В Германии даже среди авангарда националисты. Стыдоба.

– Я лишь о том, что в кои-то веки у нас происходит нечто, чем можно гордиться. – Тон Вольфганга свидетельствовал, что Фрида, как ни крути, права.

– Значит, ты бы успокоился, если б я позировала тому, кто изобразит меня с квадратными грудями и тремя ягодицами. Вот тогда все было бы нормально, да?

– Несравнимо лучше.

Фрида промолчала. Однако яростно крутанула ручку.

берлинской группы дадаистов. Вильгельм Генрих Отто Дикс (1891–1969) – немецкий художник-экспрессионист.

Рейнская дева
Берлин, 1922 г.

Вопреки сопротивлению мужа Фрида стала натурщицей и позировала герру Карлсруэну в 1921 году, а затем и в следующем. Летом 1922-го она как раз шла в мастерскую скульптора, когда услыхала ужасную новость об убийстве германского министра иностранных дел – по дороге на службу его расстреляла банда юнцов, науськанных реакционными антисемитами. Мальчишка-газетчик торговал специальным выпуском «Берлинер тагеблатт». «Вальтер Ратенау[15] убит! – выкрикивал он. – Застрелен в машине!»

У Фриды екнуло в животе. Только жизнь вроде бы стала налаживаться, так нате вам – убит передовой политик. Старое немецкое безумие вновь приподняло чугунную голову.

На оживленной Мюллерштрассе Фрида вышла из трамвая и свернула в переулок, где некогда были всевозможные конторы и магазины, а теперь в основном жилые дома. Улица служила границей рабочего района Веддинг, облюбованного художниками за житейскую приземленность и относительную богемность. Карлсруэн арендовал студию ближе к его центру, что позволяло снискать репутацию творческой личности, пребывая в отдалении от опасного левацкого квартала, известного как Красный Веддинг.

В доме консьержка по обыкновению одарила Фриду подозрительным прищуром, говорившим, что все натурщицы, позирующие голяком, – шлюхи. Фрида ответила ей гордым взглядом, полным пренебрежения, и поднялась в мансарду, где творил Карлсруэн. Сквозь приотворенную дверь доносился голос скульптора, подпевавшего граммофонной записи «Гибели богов». Он всегда работал под музыку, но, как правило, не пел. Видимо, сегодня был подшофе. Он обожал пиво и шнапс.

Фрида решительно стукнула в дверь, и та распахнулась. Наверное, Карлсруэн покачал головой. Как-то раз он укорил Фриду, что она «ломится, точно грузчик», и призвал к деликатному стуку, свойственному даме. Разумеется, в следующий свой визит Фрида со всей мощи саданула кулаком по двери и отныне в нее только дубасила. Похоже, этакое своеволие лишь распаляло маэстро. Он принимал глупо покровительственный вид и посмеивался, точно долготерпеливый отец взбалмошной девчонки.

Все это весьма раздражало, но близились выпускные экзамены, и позирование голышом было самым легким способом заработать деньги. В Берлине сотни девушек убили бы за такую удачу.

Правда, с недавних пор Карлсруэн слегка обнаглел. Фриду корежило от его обращений «бесстыдница моя» и «плутовка». Требуй поднять плату, говорил Вольфганг. Но Фрида утешалась тем, что, как только получит диплом, навеки распрощается со старым дурнем.

– Входите, – раздался знакомый самодовольный голос. – Разводящий ко мне, остальные на месте.

Карлсруэн никогда не служил, но любил подпустить военщины.

Как и ожидалось, он был один. Прежде в дальнем углу студии всегда маячила пара-тройка молодцев, возившихся с гипсом и инструментами. Карлсруэн называл их «учениками». Наличие «учеников», которые больше смахивали на платных помощников, ему очень льстило, он мнил себя этаким Микеланджело. Однако с недавних пор на время Фридиных сеансов он усылал их за покупками или с иными поручениями.

---

[15] Вальтер Ратенау (1867–1922) – германский промышленник еврейского происхождения, сторонник плановой экономики военного типа, в 1922 г. полгода пробыл на посту министра иностранных дел Германии.

Огромная студия занимала весь этаж. Сквозь стеклянную крышу ее заливал чудесный естественный свет, которого вполне хватало даже в пасмурную погоду. Уже вечерело, и Карлсруэн зажег тусклые сорокасвечовые лампочки, свисавшие с потолочных карнизов, отчего студия полнилась причудливыми тенями безмолвных гипсовых скульптур.

У дальней стены на постаменте стояла настольная лампа под абажуром, направленная, точно театральный прожектор, на подиум натурщицы.

Великий творец, облаченный во всегдашние белую блузу и берет, занимал свое обычное место, но бутылка шнапса в его руке говорила, что он не особо утруждался творчеством.

В основном Карлсруэн работал в глине – ваял умеренно эротические статуэтки, по матрицам которых отливались бессчетные гипсовые копии для продажи на рынках. Иногда он замахивался на что-нибудь посерьезнее и тогда творил в бронзе, а то и мраморе, но эти материалы было не так-то просто достать.

Фигура в белом молча следила за Фридой, пересекавшей зал. Стуча каблуками по голым грязным половицам, она шла мимо незаконченных героев и стыдливых нимф, огибала стремянки, мешки с сухим гипсом и верстаки, заваленные кистями, палитрами, ножами, долотами, карандашами и бумагой. Взгляд Карлсруэна неотступно следовал за ней все двадцать метров пути до маленькой ширмы в закутке, который скульптор окрестил «костюмерной».

Про себя Фрида смеялась над этим нелепым стремлением к «этикету». Тем более что «костюмерная» не предполагала иных нарядов, кроме костюма Евы, и Фрида всегда спешила раздеться, поскольку отсчет ее рабочего времени начинался с момента, когда она, уже голая, принимала позу. Проще раздеться прямо у подиума, предлагала Фрида. На все свои правила, отвечал Карлсруэн, разоблачаться следует в «уединении», как того требует женская стыдливость. Потом Фрида заметила, что с каждым разом ширма оказывалась все дальше от подиума. Карлсруэн явно наслаждался зрелищем, когда Фрида голышом шла по студии. Конечно, это интереснее, чем пялиться на неподвижную модель.

– Добрый вечер, фройляйн, – сказал Карлсруэн. – Какая радость видеть вас! Солнце зашло, но свет его сияет в вашей улыбке.

– Нынче не до улыбок, герр Карлсруэн. Убит Вальтер Ратенау, слышали?

Фрида не хотела затевать беседу, она вообще старалась поменьше говорить с Карлсруэном, но уж лучше что-нибудь сказать, чем слушать нежеланные комплименты, слащавые и неуклюжие.

– Да, слышал, – отмахнулся Карлсруэн. – Но я считаю, не в том дело, что погиб министр иностранных дел, а в том, что еще одна жидовская морда сдохла.

Он засмеялся, словно удачно пошутил.

Фрида промолчала. Ее не принимали за еврейку, и она уже свыклась с досужим антисемитизмом, обычным, как бездумное замечание о погоде. Если всякий раз вступать в перепалку, ни на что другое времени уже не останется.

– Так выразился не я, а мой приятель, известивший меня по телефону, – продолжал Карлсруэн. – Он же услышал эту реплику в Тиргартене сразу после покушения. Народ остер на язык, верно?

– Давайте начнем, – сказала Фрида.

– Конечно, радость моя! Не будем цепляться за гадкое настоящее Германии, но вместе перенесемся в ее легендарное прошлое. Вот только боюсь, что мой скромный дар не ровня прелести, почтившей эту студию, ибо ни холодная глина, ни бронза, ни даже мрамор не в силах передать теплую нежную белизну и восхитительную мягкость вашего тела.

В иное время Фрида выдавила бы улыбку, скрывая тошноту от медоточивых комплиментов, но сегодня с каменным лицом нырнула за ширму. Нынче что-то было не так. Самовлюбленный Карлсруэн был необычайно разнуздан. Шнапс явно его раскрепостил. Лучше бы поумерил выпивку, подумала Фрида.

Она поспешно скинула одежду и вышла из-за ширмы, чувствуя себя не в своей тарелке. Голодный взгляд старого хрыча стал привычен и уже почти не смущал, однако нынче от его глаз, шарящих по ее телу, Фриду вдруг замутило. Она взошла на небольшой помост и приняла позу как на прошлом сеансе, изящно усевшись на табурет. В композиции, говорил Карлсруэн, табурет превратится в камень, на котором восседает чаровница Рейнская дева, окутанная пенистыми волнами беснующейся великой реки.

Карлсруэн включил настольную лампу; Фрида, залитая светом, сощурилась.

– Вы не озябли, душенька? – спросил силуэт за лампой. – У вас соски отвердели. Для художника это изумительный штрих, тем более что в моем творении мифологическую героиню окатывает ледяной горный поток, однако я боюсь, как бы вы не простыли.

Фрида не шевельнулась, но покраснела. Началось! Последнее время Карлсруэн все чаще рассыпал неумеренные комплименты, в деталях живописуя ее тело. Он уже не притворялся творцом и почти не скрывал вожделения.

Слава богу, скоро сеанс закончится, думала Фрида. А пока нужно просто отключиться. Говорят, все художники втайне немножко влюблены в свои модели.

– Ваши волосы, милая, настоящая тайна. – Карлсруэн даже не думал браться за работу – стоял и пялился. – Вы шатенка? Брюнетка? Клянусь, под светом лампы в ваших волосах проскальзывает огненный всполох.

Фрида догадывалась, что хмырь разглядывает вовсе не волосы, но он был вне поля ее зрения, а шевелиться ей категорически запрещалось.

– Ах, каким украшением стала бы волнистая грива вместо этой чудовищно нелепой стрижки под пажа, которой нынче ваша сестра себя уродует. Знаете, когда я примусь за голову Рейнской девы, я надену вам парик с золотистыми косами, ибо истинная дочь земли германской носит волосы длиной до самого… тыла.

Голос его сорвался. Карлсруэн обошел подиум и встал позади Фриды. Она понимала, куда он смотрит.

Фрида старалась не слушать раздражающую болтовню и не думать о потной роже за своей спиной. По крайней мере, не нужно отвечать, чем работа и хороша. Разговоров от Фриды никто не ждал. Ей платили за неподвижность, безучастность и немоту.

Она знала, что и старикану это по душе. Он наслаждался ее бессловесностью, ее послушанием. Ее покорностью. *Kinder, Kuche, Kirche* – вот на чем заклинило старперовнационалистов. Дети, кухня, кирха. Вот удел добропорядочной немки. Но всего превыше – послушание мужу. Только нынче 1922 год, и все, слава богу, переменилось. Диплом врача будет тому подтверждением. Фрида сосредоточилась на учебе. Она вспоминала свои конспекты, что помогало скоротать утомительные часы позирования. Нынешней темой было кровообращение, и она мысленно перелистала учебник, вспоминая строение сердца.

Фрида разбиралась с артериями и венами, когда это произошло. Карлсруэн взял ее за грудь.

Фрида подпрыгнула, словно ее шибануло током, и, оступившись, грохнулась с подиума, крепко приложившись голым задом об пол.

– Ай-ай-ай! – заквохтал Карлсруэн. – Позвольте я вам помогу.

– Отвали! – Фрида вскочила на ноги. – Чего руки распускаешь? Я замужем! Все, одеваюсь!

Но скульптор загородил проход к «костюмерной», лицо его перекосилось в испуге и похоти.

– Вы оступились, – бормотал он. – Видно, нога затекла.

– Не ври! Ты меня лапал! За грудь! – орала Фрида. – Дай пройти!

– Я только поправил вам волосы. Рука случайно соскользнула. Что вы возомнили, фрау Штенгель? Это я потерпевший. Вы меня оскорбили.

Фрида ожгла его взглядом. Хмырь тискал ее грудь, но до скончания века будет это отрицать. С другой стороны, оно и к лучшему. Черт с ними, с деньгами, мукам конец. Ноги ее здесь больше не будет.

– Отойдите, герр Карлсруэн! Боюсь, я больше не смогу вам позировать.

– Не надо так. Пожалуйста.

– Только так. Приготовьте деньги, пока я одеваюсь.

Полагая инцидент исчерпанным, Фрида шагнула к ширме, но, оказалось, кошмар еще не закончился: старик обхватил ее сзади и уткнулся лицом ей в волосы.

– Прошу! – бубнил он. – Я люблю тебя, крошка! Ты для меня – все. Все!

Фрида рванулась из его хватки и вновь крикнула, что она замужем, присовокупив, что и старый козел женат.

– Кошелка, она меня не понимает! – пыхтел Карлсруэн. Он развернул Фриду к себе и жарко дыхнул ей в лицо: – Ты меня понимаешь! Ты – идеал женщины, ты – моя муза! Любовь моя!

Он крепче ее облапил и прижал к груди. От него несло шнапсом. Хоть далеко не юноша, он был еще крепок, а выпивка и похоть удесятеряли его силу. Фрида не могла вырваться. Хмырь ухватил ее за ягодицы и взбухшей ширинкой терся об ее живот.

– Ты моя крошка Рейнская дева! – сипел он. – Моя маленькая Воглинда, Вельгунда и Флосхильда![16]

И тут Фрида сообразила, как остановить это безумие.

Голой и слабой, ей не одолеть насильника, напавшего врасплох. Но сила и не требуется. Известно его слабое место. Он лапал не Фриду, но свою фантазию, свою извращенную романтическую грезу.

Одно слово угасит его пыл.

– Герр Карлсруэн, вы говнюк! – Фрида сунулась вплотную к его лицу. – Я вам не крошка Рейнская дева! Я взрослая женщина! Будущий врач! И главное – я ЕВРЕЙКА!

Возникла секундная пауза, после чего ошеломленный старик разжал хватку и отступил.

Воспользовавшись моментом, Фрида шмыгнула за ширму.

– Еврейка? – промямлил Карлсруэн. – Вы не говорили.

– Стоило бы вызвать полицию! – Фрида уже натянула белье и застегивала платье.

– Вы… не похожи на еврейку…

– А как должна выглядеть еврейка, недоумок? – Фрида сунула ноги в туфли и вышла из-за ширмы. – Непременный шнобель размером с багор? Так, что ли, хер моржовый?

– Что за выражения… вы дама…

– Выражения! Ты меня чуть не изнасиловал!

– Что вы! Всего лишь объятие, невинный поцелуй… Я думал, вы не против… Виноват. Можете идти.

– Сначала деньги! – Фрида схватила большой мастихин и наставила на скульптора.

Карлсруэн достал из кармана блузы кучку банкнот и сунул Фриде в руку.

– Пожалуйста, уходите, – сказал он.

Фрида отшвырнула мастихин и ринулась к двери.

– Запомните, герр Карлсруэн: мужу я ничего не скажу только потому, что иначе он вас убьет. Понятно? Убьет!

[16] Воглинда, Вельгунда и Флосхильда – русалки из оперы Рихарда Вагнера «Золото Рейна» из цикла «Кольцо нибелунга».

Дистрикт и Кольцевая линия
Лондон, 1956 г.

Ближе к полудню Стоун вышел из дома на Куинс-гейт, где проходил допрос. От казарм в Челси прогарцевал кавалерийский эскадрон, направлявшийся в Гайд-парк. Всадники впечатляли, хоть были не в парадной, а повседневной форме. Отголосок имперского величия. Стоун неловко отсалютовал. Видимо, сила привычки. Говорят, военщина въедается. Вообще-то, армия ему нравилась – не мишурным лоском, а духом отваги и товарищества. Недолгая служба в британских войсках одарила его домашним теплом.

Стоун зашагал к станции метро «Южный Кенсингтон». Лорре и Богарт велели идти домой, на работе сказаться больным и ждать указаний. Дескать, с министерским начальством все будет улажено, он не потеряет ни в деньгах, ни в доверии.

О деньгах Стоун не беспокоился. В голове неотвязно крутилась ошеломительная новость: Дагмар – сотрудница Штази.

Впрочем, такая ли ошеломительная? Война сильно всех изменила. Если б вернуться в прошлое и взглянуть на себя довоенного, мог ли он представить путь, ожидавший беспечного бунтаря, помешанного на футболе? Путь, в конце которого придется чахнуть в кабинете Уайтхолла, отбывая долгую и нудную епитимью того, кто выжил.

Дагмар вряд ли узнала бы его нынешнего. А он ее узнал бы?

У входа в метро, с девятнадцатого века сохранившего красную черепицу, Стоун отклонил предложение купить дневной выпуск «Стэндард». Новости те же, что и вчера. Передовицы все еще трубили о последствиях Суэцкого фиаско и нескончаемом унижении, которому Британию подвергли Эйзенхауэр и американский Госдепартамент, не говоря уже о Насере[17]. Соединенное Королевство ляпнулось, Египет на подъеме, весь Ближний Восток поигрывает мускулами.

Из открытого окна над входом в метро доносилась песня Лонни Донегана[18]. Если честно, эти песенки Стоун слушал не без удовольствия, кроме одной дурацкой, про жвачку и кроватный балдахин[19]. Скиффл подкупал своей шершавостью и непочтительностью к авторитетам. Однако сейчас он раздражал. Раздражали девушки, щебетавшие на лестнице. И объявления диспетчера.

Стоун пытался размышлять.

В письме сказано, что Дагмар сидела в советском Гулаге. В этом была жестокая логика. После войны русские отправили в лагеря сотни тысяч ни в чем не повинных людей, недавно освобожденных из плена. Хотя малодушные апологеты из числа лондонских левых очень старались замолчать или оправдать сей факт.

И потом, Дагмар – буржуйская еврейка. Две галочки в сталинском гроссбухе.

Но это было десять лет назад. Невозможно, чтобы все эти годы Дагмар провела в советском лагере, а теперь вдруг стала сотрудницей Штази. Значит, в какой-то момент ее освобо-

---

[17] Суэцкий кризис (Вторая арабо-израильская война, 1956–1957) – международный конфликт, связанный с определением статуса Администрации Суэцкого канала; Великобритания, Франция и Израиль вели военные действия против Египта. Конфликт был закончен при содействии СССР, США и ООН, границы сторон не изменились. Дуайт Дэвид Эйзенхауэр (1890–1969) – американский государственный и военный деятель, 34-й президент США (1953–1961). Гамаль Абдель Насер (1918–1970) – второй президент Египта (1956–1970), полковник, деятель панарабского движения, Герой Советского Союза.

[18] Лонни Донеган (1931–2002) – британский музыкант, «король скиффла» 1950 – начала 1960-х.

[19] Имеется в виду песня Марти Блума, Эрнеста Бройера и Билли Роуза *Does Your Chewing Gum Lose Its Flavour* (*On the Bedpost Overnight?*), которую Лонни Донеган записал лишь в 1959 г.; изначально песня называлась *Does The Spearmint Lose Its Flavor on the Bedpost Overnight?* и впервые была записана вокальным дуэтом *The Happiness Boys* (Билли Джоунз и Эрни Хэр) в 1924 г.

дили и «реабилитировали». Однако лишь теперь она подала весть. Почему же так долго не пыталась его разыскать?

И почему разыскала сейчас?

Подъехал поезд. Стоун нашел свободное место и закурил «Лаки Страйк». Его отец всегда любил американские сигареты.

Ответ на первый вопрос очевиден. Дагмар *не хотела* возобновлять отношения. Общение с тем, кто живет на Западе, добром бы не кончилось. Особенно с таким, как он: бывший немец, обитает в Англии, служит в министерстве иностранных дел. Конечно, на своей должности Дагмар могла все это разузнать и понять, что контакты с ним навлекут на нее подозрение. Желание МИ-6 через него завербовать Дагмар лишний раз это подтверждает.

Тогда зачем она дала о себе знать?

Ответ выходил столь волнующим, что даже в самых потаенных мыслях он не осмеливался его принять.

Дагмар в нем нуждалась.

Зажав сигарету губами, Стоун достал из бумажника письмо. Тот же знакомый почерк. Может, теперь чуть шаткий, словно печаль поубавила оптимизма.

Дорогой друг, в нашу последнюю встречу в кафе на вокзале Лертер ты взял меня за руку и прошептал так, чтобы никто, даже твой брат, не услышал. Ты сказал, что любишь меня и всегда будешь любить. Ты обещал, что мы еще увидимся. Ты сдержишь обещание? Конечно, теперь мы чужие. Но ты приедешь? Может быть, вместе мы сумеем улыбнуться над полузабытым счастьем из другой жизни и другого времени. Все ждут Моисея.

Последняя строчка. *Все ждут Моисея.*

Его мать так говорила. В первый год кошмара. В 1933-м. Те, кто к ней приходил, просили о выходе. Ведь она врач, а врачи умеют ответить на любой вопрос. Даже как получить выездную визу. Но при всем ее уме и сострадании доктор Штенгель этого не знала. Она лишь улыбалась и ласково шептала: *Все ждут Моисея. Надеются, что он выведет народ из Египта.* В первый год она говорила это часто, затем реже, а потом и вовсе перестала.

Значит, у Дагмар опять свой Египет.

И теперь Моисей ее не подведет.

Бешеные деньги
Берлин, 1923 г.

На толстом синем английском ковре, доставшемся от родителей Вольфганга, играли Пауль и Отто, а Фрида за письменным столиком разбиралась в семейном бюджете. Взгляд ее задержался на одной банкноте, и вдруг она платком промокнула глаза.

Мальчиков, еще полагавших плач исключительно своей прерогативой, материнские слезы застали врасплох, и они прекратили игру.

– Мама, не плачь, – хныкнул Отто.

– Я не плачу, милый. Просто ресничка в глаз попала.

Фрида высморкалась, и мальчики отвлеклись на дела поважнее: под шумок Пауль спер из крепости Отто парапет, пристроив его в собственную фортификацию. Пауль, обладатель глубоко посаженных темных задумчивых глаз, отличался большей дальновидностью, а Отто, отнюдь не дурак, – необузданной импульсивностью, которая сейчас проявилась мгновенно и яростно. Пухлый кулачок его съездил Пауля по башке, от чего моментально вспыхнула драка, конец которой положил Вольфганг: выскочив из спальни (где отсыпался после ночного концерта), водой из игрушечного пистолета он облил кучу-малу из молотящих и лягающихся рук и ног. Однажды в парке он обучился этому приему у человека, разводившего собак.

– Собачью свару я разливаю водой, – сказал заводчик. – Доходит быстро.

Вольфганг решил, что у его драчливых трехлеток можно выработать тот же условный рефлекс.

– Пока они лишь дикие зверята, – увещевал он Фриду – она возражала против того, чтобы ее детей дрессировали как собак. – Согласись, метод работает.

– Ничего он не работает. Им просто забавно.

– Все равно, смех лучше ора.

Сейчас, утихомирив близнецов, Вольфганг заметил женины покрасневшие глаза.

– Что случилось, Фредди? – спросил он. – Ты плакала?

Вольфганг подсел к жене на винтовой табурет от пианино.

– Не надо, маленькая. Я понимаю, времена нелегкие, но мы же справляемся, правда?

Фрида не ответила, только протянула ему купюру в десять миллионов марок, которая оказалась в сдаче за давешнюю покупку литра молока.

На банкноте виднелась грустная надпись ученическим почерком: «Вот за эту бумажку я продала свою невинность».

Вольфганг нахмурился и пожал плечами:

– Наверное, это было месяц назад, не меньше. Сейчас даже деревенская дурочка за свою девственность потребует сто миллионов.

– Вот уж не думала, что Германия скатится в такое безумие, – шмыгнула носом Фрида.

– Если проигрываешь мировую войну, нечего ждать, что наутро все будет нормально. Та к мне кажется.

– Прошло *пять лет*, Вольф. По-моему, в стране уже никто понятия не имеет, что такое «нормально».

На площадке лифт громким лязгом объявил о прибытии на их этаж.

– Эдельтрауд, – страдальчески улыбнулась Фрида.

– Наконец-то.

– Надо купить ей часы.

– Надо дать ей пинка под зад.

Эдельтрауд служила у них горничной и нянькой. Семнадцатилетняя беспризорница с двухгодовалой дочерью под мышкой забрела в Общественный медицинский центр, где работала Фрида, и просто рухнула, измученная голодом и мытарствами. Фрида ее накормила, одела, устроила в общежитие, а еще, ради смешливой девчушки, ползавшей по полу, обещала работу.

Этот ее поступок удивил и раздражил коллег, в большинстве своем несгибаемых коммунистов, не одобрявших буржуазную сентиментальность.

– Если собираешься давать работу всякой босячке, что к нам заявится, вскоре наймешь весь Фридрихсхайн, – ворчал юный Мейер. – Классовую совесть следует направлять в организованное политическое русло, а не распылять на реакционное и непродуктивное либеральное милосердие.

– А тебе следует заткнуться и не лезть в чужие дела, – ответила Фрида, удивляясь себе.

Затея не шибко обрадовала и Вольфганга, хотя его доводы были не диалектического, а бытового свойства. Его не грела мысль, что беспечная, неумелая и малограмотная пигалица будет шастать по дому и воровать еду. Однако через пару месяцев он был готов признать, что идея себя оправдала. Да, Эдельтрауд вечно опаздывала, была не самой трудолюбивой на свете и обладала *неописуемо* скверной привычкой переставлять вещи на полках. Но она была славная и незлобивая, а близнецы ее обожали, что Вольфганг объяснял одинаковым уровнем развития всей троицы.

Эдельтрауд была всего на шесть лет моложе Фриды, но иногда той казалось, что у нее появилась дочка, юная и наивная.

Она и всплакнула над банкнотой с жалостливой надписью, потому что подумала об Эдельтрауд.

– Ведь и она могла такое написать, – сказала Фрида.

– Дорогая, когда Эдельтрауд получает деньги, хоть как заработанные, она не тратит время на душераздирающие надписи. Она все спускает на шоколад и журналы о кино. Кроме того, она не умеет писать.

– Вообще-то уже немного умеет – я с ней занимаюсь.

– Только не говори засранцу Мейеру. Он скажет, что единичные попытки не освободят деклассированные элементы, нужны скоординированные массовые действия.

– Я не стремлюсь освободить деклассированные элементы. Я хочу, чтоб она могла прочесть мои списки покупок.

В скважине скрежетнул ключ, и в комнату влетела Эдельтрауд. В руке батон от разносчика, под мышкой – дочка Зильке, плод чрезвычайно краткого романа с матросом. Об этом своем опыте в четырнадцать лет Эдельтрауд рассказывала с обезоруживающей откровенностью и непреходящим удивлением:

– Он привел меня в меблирашку, справил свое дело, которое не шибко-то мне понравилось, и сказал, что сходит в сортир. Ну, через час я еще думала, что у него запор. И сообразила, что гад слинял, лишь когда хозяйка забарабанила в дверь и потребовала денег, которых у меня, конечно, не было. Нечего сказать, славный способ распрощаться с целкой.

Сейчас Зильке, очаровательной жизнерадостной малышке с копной светлых, чуть ли не белых кудряшек, исполнилось два с половиной года. Разумеется, кудри ее были предметом восхищения и жутким искушением для Пауля и Отто, не упускавших случая их подергать.

– Здравствуйте, фрау Штенгель и герр Штенгель! Я привела Зильке, – с порога объявила Эдельтрауд. – Вы не против?

– Нет, конечно, мы всегда ей рады, – сказала Фрида. – Если мальчишки начнут дергать ее прелестные локоны, шмякни их деревянной ложкой.

– Ладно, пойду еще чуток сосну, – зевнул Вольфганг. – Эдельтрауд, окажи любезность, пока не включай пылесос и постарайся одолеть искушение перекладывать ноты на пианино.

– Конечно, герр Штенгель, – ответила Эдельтрауд, машинально поменяв местами обрамленную фотографию и пепельницу на полке над газовым камином.

Вольфганг ушел в спальню, а Эдельтрауд, чрезвычайно довольная приказом не работать, приступила к последним новостям.

– Слыхали? – спросила она, задыхаясь от нетерпения.

– Что?

– Пойнерты отравились газом.

– Господи! – ужаснулась Фрида. – Почему?

Еще не договорив, она поняла глупость вопроса, ибо ответ был очевиден.

– Жили на почтальонскую пенсию Пойнерта без всяких доплат, – объяснила Эдельтрауд. – Оставили записку – дескать, лучше наложить на себя руки, чем помереть с голоду. Продали всю мебель, чтоб им опять подключили газ, на голом полу рядышком улеглись перед краном на плинтусе и с головой накрылись одеялом.

– Господи, – прошептала Фрида.

– По-моему, очень-очень романтично, – сказала Эдельтрауд.

Ей еще не исполнилось восемнадцати, и оттого в ее подаче этой кошмарной истории сквозило неосознанное юношеское бессердечие.

Фрида не находила здесь ничего романтичного. Совместная жизнь до старости романтична, а вот совместное самоубийство – ужасно и очень печально. Мельком она видела Пойнертов, при встрече с ними раскланивалась, но ведать не ведала об окутавшем их отчаянии.

– Надо было с ними поговорить. Спросить, все ли в порядке, не нужно ли чего.

– И что толку? – фыркнула Эдельтрауд. – Вы же не вернете им обесценившиеся сбережения. Сегодня у табачного ларька одна тетка сказала, что всю жизнь копила, а теперь этих денег не хватит даже на пачку сигарет и газету. Вот и ответ: не фиг копить. Получил – сразу трать.

Она ссадила Зильке с коленей и загрохотала грязными тарелками в раковине.

– Представляете, старики-то принарядились: она в длинном бабушкином платье, он в форменном пиджаке и галстуке. Во картина! Разоделись, будто на воскресную прогулку в Тиргартене, а потом растянулись на голых половицах, укутав бошки одеялом. Вообще-то, потеха.

Малышка Зильке вразвалочку проковыляла к близнецам. Остановилась перед ними, расставив крепкие босые ножки, скрестила руки на груди и глубоко задумалась. Наконец решение созрело, и Зильке грузно села на крепость Отто, развалив ее до последнего кубика. Разумеется, взбешенный Отто завопил, а Пауль покатился со смеху, суча ногами. Зильке встала и шагнула к крепости Пауля, которую ждала та же участь, и весело захихикала, оглядывая деревянные развалины двух грандиозных фортификационных сооружений. Настал черед Пауля вопить и Отто – смеяться. Забыв о Зильке, причине их огорчения, братья принялись мутузить друг друга, с воплями катаясь по ковру. Зильке, явно довольная развитием ситуации, сверху навалилась на бойцов, восторженно хохоча.

Фрида и Эдельтрауд не успели утихомирить детей – явился грозный Вольфганг с водяным пистолетом. Побоище стихло лишь после того, как троица насквозь промокла; тогда пришлось ее раздеть и вывесить одежки на балконе. А ребятня затеяла свою наилюбимейшую игру: мальчишки завалили Зильке подушками, собранными со всей квартиры, и под аккомпанемент ее неподдельно счастливого визга прыгали на мягкой горе.

– Теперь уж без толку ложиться, – вздохнул Вольфганг, разглядывая ребячьи конечности, устроившие змеиную свадьбу меж подушек, и поставил турку на плиту. – Днем выступать в Николасзее.

– Могу я сварить вам кофе, герр Штенгель? – бодро предложила Эдельтрауд.

– Нет, не можешь. В прямом смысле. Ты *можешь* сварганить непроцеженную бурду, которую называешь кофе, умудряясь сделать ее чересчур крепкой и в то же время совершенно без-

вкусной, но вот *настоящий* кофе ты сварить *не можешь*, так что лучше я займусь этим сам, если ты не против.

– Как угодно, – пожала плечами Эдельтрауд. – По мне, главное, чтоб было теплое и жидкое.

– Вот! Ты сумела кратко выразить всю кошмарную суть.

– Вы *смешной*, герр Штенгель.

Вольфганг посмотрелся в полированный бок великолепного пианино «Блютнер», сохранившего зеркальный блеск там, куда еще не доставали детские пальцы.

– Пожалуй, побреюсь. Надо выглядеть презентабельно.

– Я не успела отчистить твой смокинг от потных разводов, – сказала Фрида. – Да еще надо гладить, потому что ты бросил его на полу в ванной, хотя миллион раз я просила тебя вешать одежду хотя бы на стул.

Вольфганг взял смокинг и безуспешно попытался рукой разгладить складки, напоминавшие меха концертино.

– Не понимаю, почему мы должны выступать в наряде метрдотеля, – сказал он. – Публика приходит нас слушать, а не разглядывать.

– Ты должен быть красивым, сам знаешь. По-моему, единственный выход – купить второй смокинг. У тебя столько халтур, что один некогда почистить.

– Все пляшут. – Вольфганг подал кофе Фриде. – Чудеса. Буквально все, правда. Бабки. Калеки. Легавые, фашисты, коммунисты, попы. Танцуют все. Чем инфляция бешенее, тем народ безумнее. Ей-богу. Берлин официально стал международной столицей чокнутых. Нью-йоркские парни, с которыми я играю, того же мнения. Они сами чокнутые.

– В Америке пляшут на крышах такси и крыльях аэроплана, – поделилась Эдельтрауд. – Я видела в кинохронике.

– В том-то и дело, что для них танцы – забава, а для нас – лечебный курс, – сказал Вольфганг. – Прямо как последний бал перед концом света.

– Не говори так, Вольф! – вскинулась Фрида. – Я же только диплом получила.

– Нам-то, лабухам, лафа. Мы обожаем инфляцию, военные репарации и чертовых французов, оккупировавших Рур. Мы счастливы, что марка угодила в кроличью нору и очутилась в Стране Чудес. Чем стране херовее, тем у нас больше работы. Сегодня у меня пять выступлений. Представляешь, *пять*! В обед играем вальсы для бабок и дедов. Потом обслуживаем танцы вековух, мечтающих о елдаке.

– Вольфганг!

– Вы *смешной*, герр Штенгель.

– Нет, правда, вся страна пустилась в пляс.

К восторгу Эдельтрауд и малышей, Вольфганг отбил степ. В конце войны он освоил это искусство, дабы повысить свою концертную ставку.

– «Да! Бананы не завезли! – напевал он, чеканя ритм “пятка-носок”. – Нынче не завезли бананы!»[20]

Фрида улыбнулась, но ее изводила мысль о тех, кто не плясал. О тех, кто в пустых домах замерзал на голых половицах. После очень недолгой отлучки голод с отчаянием вернулись, и немощные дети и старики умирали сотнями.

Танцевальное поветрие накрыло родной город, для многих став пляской смерти.

---

[20] «Да, бананы не завезли» (*Yes! We Have No Bananas*, 1922) – песня Фрэнка Силвера и Ирвинга Кона о торговце-греке, который никогда не говорит покупателям «нет»; впервые прозвучала в бродвейском эстрадном ревю в исполнении Эдди Кантора, а затем вошла в репертуар джазового оркестра Бенни Гудмена.

Юные предприниматели
Берлин, 1923 г.

Юнцу, который в баре подошел к Вольфгангу, было лет восемнадцать, а выглядел он еще моложе. В одной руке парень держал бутылку «Дом Периньона», в другой – массивный золотой портсигар с большим бриллиантом на крышке. Рука с бутылкой обвивала карандашную талию модно истомленной девицы со сногсшибательной стрижкой «боб»: темный блестящий шлем, косая челка перечеркивает лоб, две подвитые волны чуть прикрывают уши. Этот потрясающий облик одновременно воспрещал и манил. Чего не скажешь о ее кавалере, в котором Вольфганг мгновенно разглядел законченного козла.

– Эй, джазист! – проблеял юнец. – Надо перемолвиться, мистер Трубач.

Вольфганг на него покосился, но промолчал.

В то сумасшедшее лето в Берлине было полно этаких безмозглых богатых сосунков, совершенно нелепых в своей нарочитой громогласности и пьяной наглости.

Мальчики с пушком на щеках, но в безупречных вечерних нарядах, волосы зачесаны назад и набриллиантинены до скорлупочной твердости. Иногда губы чуть тронуты помадой – дань неожиданной моде на легкую голубизну.

И девочки, в восемнадцать лет искушенные и утомленные жизнью. Стрижки «бубикопф» и «херреншнитт», дымчато затененные веки, наимоднейшие платья-футляры, болтавшиеся на костлявых мальчишеских телах.

Новые немецкие предприниматели детсадовского возраста, авантюристы, ошалевшие от спиртного и наркотиков.

Рафке и Шиберы[21] – щеголи, игроки, барышники и воры. В кофейнях за кофе с пирожным молокососы торговали акциями и учреждали частные банки. За пару хлебных буханок скупали у военных вдов бесценные для них вещицы и за валюту сбывали французским солдатам в Руре.

Но этот парень был сопляком даже по сумасбродным меркам великой инфляции. Казалось, смокинг ему одолжил для школьного бала отец, а бабочку повязала матушка.

– Привет, папаша, – широко ухмыльнулся он. – Я – Курт, а это небесное создание кличут Катариной. Ух ты! Курт и Катарина. Прямо песня! *Курт и Катарина прилетели с Сардинии!* Недурно. Можешь использовать, если хочешь. Только мелодию сочинить. Поздоровайся с мистером Трубачом, детка.

Девица холодно кивнула, изобразив намек на улыбку. Или презрительную усмешку. Сразу не разберешь, ибо так и задумано – образ сладострастной недотроги.

Интересно, подумал Вольфганг, репетирует ли она загадочность перед зеркалом, густо затеняя веки больших серых глаз и так загибая ресницы, что они смотрятся вдвое длиннее? Катарина выглядела чуть старше Курта – на целых девятнадцать лет, а то и все двадцать. В свои двадцать пять Вольфганг себя чувствовал старцем.

– Привет, Катарина, – сказал он. – Рад познакомиться.

– Смотреть можно, руками не трогать, мистер Трубач! – предостерег Курт и погрозил пальцем с тяжелым перстнем. – Роскошная детка уже нашла себе папика.

Вольфганг усмехнулся – нелепая роль для юнца, – но втайне подосадовал, что не сумел скрыть восхищения. Сама же Катарина одарила кавалера взглядом, полным столь безграничного презрения, что удивительно, как малец не превратился в кучку пепла.

---

[21] Нувориши и спекулянты (*искаж. нем.*).

– Мы с корешами частенько сюда заваливаемся, – сообщил Курт. – Наш любимый гадюшник. Хочешь знать почему?

Вольфганг чуть было не ответил, что вполне проживет без этих сведений. В бар он заскочил, чтоб для согрева опрокинуть стаканчик виски под сигарету, и был не расположен к пьяным излияниям чужаков. Тем более малолеток.

Но в юном петушке бесспорно было некое обаяние, даже при неизмеримом его самодовольстве. И если уж совсем честно, Вольфганг не возражал еще пару минут побыть под холодным оценивающим взглядом волоокой Катарины.

– Наверное, ты все равно скажешь. Та к что избавь меня от мук. Почему ты сюда ходишь, Курт?

– Понимаешь…

– У меня пусто, – лениво протянула Катарина, длинным ногтем под черным лаком постукивая по краю бокала.

Искрометная жизнерадостность Курта была неуязвима для пренебрежения и шпилек. Он тотчас опорожнил бутылку в бокал спутницы и заказал новую.

– Смотри, чтоб французское! – крикнул он, бросив на стойку настоящие американские доллары. – И солодовый скотч моему другу!

Катарина поднесла бокал к губам, и ее платье тончайшего шелка чуть заморщило на груди. Будто девушка голой прошла сквозь паутину.

И снова Вольфганг постарался не пялиться.

– Дай огня. – Катарина взяла сигарету из пачки Вольфганга, лежавшей возле его стакана. – Я люблю «Лаки». Они подсушенные такие.

Вольфганг чиркнул спичкой о подошву ботинка и поднес огонь. Подавшись вперед, Катарина ладонью накрыла его руку. Пламя высветило ее изящные скулы, затенив виски.

– Так я отвечу, если мне позволят вставить словечко, – сказал Курт. – Мы приходим сюда ради музыки. А точнее – ради тебя, мистер Трубач.

– Большое спасибо. – Вольфганг залпом опрокинул двойную порцию дармового скотча. – Я здесь каждый вечер и рад всем кредитоспособным гостям.

– Ты очень клевый, – процедила Катарина, выпустив дым из губ в пурпурной помаде. Немигающий взгляд из-под сильно затененных век задержался на Вольфганге. – Люблю трубачей. Они умеют согласовать губы и пальцы.

Вольфганг аж покраснел, а Курт покатился со смеху и шлепнул подругу по заднице:

– Хорош заигрывать, пупсик! У меня деловой разговор.

– Правда? – откликнулась Катарина. – Так вот тебе еще дельце, малыш: гони полсотни баксов или ищи себе другую красавицу, с которой будешь выглядеть мужчиной, а не придурочным школяром. И только попробуй еще раз меня шлепнуть.

– Во дает, а? – Курт глупо хихикнул. – Крутой бабец! Таких и люблю. Наверное, я мазохист.

К удивлению Вольфганга, он достал денежную пачку, скрепленную золотым зажимом, и отсчитал пять десятидолларовых купюр, которые девушка спокойно приняла, не поблагодарив даже кивком. Катарина игриво поставила стройную ногу на подножку барного стула, до бедра вздернула платье и сунула деньги за подвязку чулка.

– К сожалению, платье без карманов, – усмехнулась она, перехватив взгляд Вольфганга.

Вольфганг поперхнулся и решил, что пора домой.

– Деловой разговор? – поспешно сказал он, притворяясь, будто его заинтересовала твердая валюта, а вовсе не бедро Катарины. – Какое дело и при чем тут я?

– Ты же заправляешь в этом гадюшнике, верно? Нанимаешь оркестр, сочиняешь афиши, оговариваешь репертуар.

– Да, этим занимаюсь я. Мои обязанности.

– Что ж, мне нравится, как ты работаешь, папаша. Я открываю свой клуб и хочу, чтобы ты был моим управляющим.

Вольфганг сдержал смех.

– Открываешь клуб? Прости, Курт, сколько тебе лет?

– Восемнадцать.

– Семнадцать ему, – сказала Катарина.

– Я пользуюсь русским календарем, – огрызнулся Курт. – В знак солидарности с убитыми Романовыми.

Вольфганг рассмеялся. Нет, малый и впрямь обаятельный.

– Тебя даже не впустят в клуб, какое уж там – продать.

– С долларами любого впустят, – возразил Курт. – У меня полно баксов. Есть франки и золотые соверены. Все что хочешь. Пошли за наш столик. Познакомишься с моими друзьями, там все и обсудим.

Вольфганг глянул на столик в конце людного зала. Похоже, вся компания – однолетки Курта.

– А что, вы не учитесь – в техникуме или где там?

– Чему учиться у старичья? – Курт досадливо дернул плечом. – Абсолютно нечему. Разве что – как пресмыкаться. И голодать. Да еще сидеть сложа руки и грезить о 1913 годе, пока не загнешься. Мы знаем гораздо больше, чем старые тупые ублюдки, вот потому-то и пьем французское шампанское и слушаем классный джаз, пока они стоят в очереди за супом или маршируют в оловянных касках, выглядывая, где бы какого еврея пристрелить. Пошли, познакомишься с моими друзьями.

Возможно, свою роль сыграли мальчишкины деньги. Или его подружка. Как бы то ни было, Вольфганг позволил отвести себя к столику, где Куртова «шобла» приветствовала его восторженными аплодисментами.

– Это Ганс, – представил Курт юного здоровяка с усиками а-ля Дуглас Фэрбенкс[22], скорее всего подкрашенными тушью для ресниц. – В прошлом году завалил выпускной экзамен по латыни и теперь торгует автомобилями.

– Любыми, от малолитражки до «роллс-ройса», – похвастал уже крепко окосевший Ганс. – Хочешь, тебе устрою. Держи визитку. Такому музыканту скидка.

Вольфганг отшутился – мол, ему вполне хватает велосипеда, – но визитку взял, подметив, что у парня зрачки с булавочное острие. К плечу Ганса привалилась девица в полной отключке.

– Это Дорф. – Не обращая внимания на бесчувственную девушку, Курт представил ее соседа – серьезного парня в роговых очках. – Занимается валютой, отец же прочит его в юристы.

– Хочет, чтобы к двадцати одному году я стал клерком-стажером, – чопорно сказал Дорф. – Даже смешно, поскольку без меня старик голодал бы. Мать, конечно, ничего ему не говорит.

Курт с Гансом рассмеялись, обеспамятевшая девица начала сползать под стол. Ганс ее придержал.

– А вот Гельмут. – Курт показал на красавца-блондина с небесно-голубыми глазами и кобальтовыми серьгами им в тон. – Он так называемый…

– Педрила-сводник, – вставила Катарина.

– Вообще-то я хотел сказать «консультант по социальным вопросам».

– Мне больше нравится «педрила-сводник», – игриво сказал Гельмут, чем вызвал очередной взрыв смеха, а Гансова девица вновь двинулась под стол.

---

[22] Дуглас Элтон Томас Ульман Фэрбенкс (1883–1939) – американский актер, звезда немого кино.

– Ну вот, ты познакомился с моими друзьями, мистер Трубач. Все они твои горячие поклонники.

Вновь грянули аплодисменты.

– Ты про себя не сказал, Курт, – напомнил Вольфганг. – Чем сам-то балуешься?

– Говорю же, помимо всего прочего я владелец клуба.

– Ага. Какого клуба?

– Еще не решил. Может, этого, может, еще какого. А может, всех разом, посмотрим.

– Значит, пока они не твои?

– Детали. Заполучу все, если понадобится.

– Как же ты их заполучишь, Курт? – Вольфганг хотел как-нибудь ловко осадить наглеца, но досадливо понимал, что тот вряд ли заметит насмешку.

– Сымпровизирую, как еще! Точно клевый джазист… А ведь и правда! Я – *джазовый экономист*. – Курту явно понравился собственный образ. – Ты используешь ноты, а я – *банкноты*! Классно, а?

– Откуда же они берутся?

– Как и у тебя – из воздуха! Беру сколько надо под залог покупки, а через неделю возвращаю ссуду, в тысячу раз обесценившуюся. Всякий может.

– Почему же всякий не делает?

– А ты – почему?

Спору нет, Курт прав. Вольфганг *мог бы*. Покупать что захочет. Все что угодно. Нужна только смелость. Обыкновенная наглость. Даже особой смелости не требовалось, ибо деньги обесценивались так быстро, что любой долг превращался в фикцию.

Всякий так *мог*.

Но *делали* такие как Курт.

Да еще, конечно, крупные воротилы. Промышленники, которые точно так же использовали ситуацию, но эти покупали целые отрасли, а Курт – лишь шампанское и дурь.

Все прочие ломали голову, где раздобыть пропитание на завтра.

Тут Вольфганг вспомнил, что пора домой – отпустить Фриду на рынок. Жалованье у него в кармане обесценивалось с той же скоростью, что и Куртовы долги. Он нищал, пока тут валандался, а Курт богател.

– Ну вот что. – Вольфганг осушил и поставил стакан на стол. – Покупай клуб и делай мне предложение. Если сочту его заманчивым, пойду к тебе управляющим. Пока же топаю домой, а то и впрямь засиделся.

Рука Катарины уже в который раз задела его ладонь. Никаких сомнений, хозяйка ее об этом знала. Не бывает столь многократных случайностей.

Факт будоражил.

Значит, тем более пора домой.

Вольфганга всегда окружали поклонницы, девушки постоянно строили ему глазки. Малышки души не чаяли в джазменах, а тут этакий симпатяга, да еще трубач.

Как правило, он проявлял стойкость и был неуязвим для кокетливых взглядов разгоряченных танцами дев. С эстрады Вольфганг охотно разглядывал вертлявые попки и груди, колыхавшиеся под платьем-одно-название, но желания их полапать не возникало. А вот с Катариной иначе. Она ему взаправду глянулась, что таило в себе опасность, ибо и он, похоже, глянулся ей.

– Завтра вечером я здесь играю, вот и поговорим, – буднично сказал Вольфганг.

– Завтра я уже стану твоим боссом, – ответил Курт. – Переговорим, не сомневайся.

Компания одобрила такое нахальство гиканьем и грохотом кулаков по столу, в результате чего бесчувственная девица съехала-таки под стол.

Вольфганг пожал Курту руку и небрежно кивнул Катарине. Та тоже ответила легким кивком, лицо ее оставалось замкнутым и бесстрастным.

Но потом, словно повинуясь порыву, она вдруг подалась вперед и поцеловала Вольфганга в губы. На секунду он почувствовал жирную вязкость ее помады и уловил аромат духов. Затем Катарина столь же резко отпрянула, и лицо ее вновь превратилось в маску.

– Видали! – воскликнул Курт. – Говорил же, заигрывает. Ты удостоен чести, меня на прощанье она не целует.

– Ты же не трубач. – Катарина впервые искренне улыбнулась.

– Ну ладно, я пошел. – Вольфганг старался сохранить самообладание. – Жена, дети, знаете ли.

Последнее адресовалось Катарине. Обычно о своем семейном положении он не распространялся. Слишком приземленно. Не шибко джазово.

Потому-то сейчас и сказал. Катарина его разбередила, и надо было сразу ее уведомить, ибо по опыту он знал: ничто так не остужает распаленное либидо джазовой поклонницы, как упоминание о жене и детях.

– Передай поклон фрау Трубач, – сказал Курт.

– Непременно.

Надо было сваливать.

Смешные деньги
Берлин, 1923 г.

Главное – не медлить. В течение дня цена кило моркови могла подскочить в пятьдесят тысяч раз, и молодой паре, обремененной детьми, хватало благоразумия не откладывать покупки на после обеда.

Вольфгангу повезло, что работа его заканчивалась всего за час-другой до открытия рынков. Управляющий выдавал жалованье кучей банкнот, иногда еще сырых, только-только из-под печатных станков Рейхсбанка, которые – все двенадцать – работали круглосуточно. Вольфганг хватал деньги, черным ходом выскакивал из клуба и, пристроив трубу и скрипку на велосипедный багажник, что есть мочи крутил педали, опасаясь, как бы инфляция не сожрала весь заработок, прежде чем он поспеет его истратить.

В феврале он получал двести-триста тысяч марок пяти– и десятитысячными купюрами, которые рассовывал по карманам. Летом он уже забрасывал инструменты за спину, а к багажнику приторачивал раздувшийся от денег чемодан.

Нынче из-за выпивки с Куртом и Катариной он припозднился и потому налегал на педали древнего односкоростного драндулета. Чтобы не откусить язык в берлинских проулках, еще в прошлом веке вымощенных булыжником и неровным плитняком, Вольфганг крепко сжимал клацавшие зубы.

В колодце двора он цепью пристегнул велосипед к баку общественной помойки, через парадный ход вбежал в вестибюль и вызвал лифт. Всякий раз, как Вольфганг хотел им воспользоваться, лифт почему-то оказывался в другом конце шахты, верхнем или нижнем. Обычно Вольфганг матерился под нос, проклиная закон подлости, но сегодня это было на руку. Прислушиваясь к натужному лязгу спускавшейся кабины, он припомнил давешнее знакомство и особенно прощальный поцелуй Катарины.

Вспомнил ее руку, обхватившую его загривок. Томный взгляд сквозь табачный дым. На мгновение ожившие губы.

И тут вспомнил про помаду. Густую, блестящую, пурпурную.

Уж он-то знал, что любая женщина с пятидесяти шагов и сквозь закрытую дверь узрит чужую косметику. Вольфганг выхватил из кармана платок и крепко отер рот. Потом глянул на льняной квадратик и понял, что вовремя спохватился, – на ткани остались темно-пурпурные разводы. Конечно, он ни в чем не виноват, он не напрашивался на поцелуй. Но когда речь о следах чужой помады, безвинность – не аргумент.

Фрида, уже в пальто и шляпке, ждала его за дверью; возле ног ее стояла приготовленная сумка, на руках восседал Отто.

– Ты задержался, – громким шепотом сказала Фрида, кивнув на дверь детской – мол, второе дитятко еще спит.

– Извини. Деловой разговор. Малый предлагает работу. Возможно, заинтересуюсь.

– Держи Отто, уже час как проснулся. – Фрида всучила карапуза мужу и взяла сумку. – Наверное, увидел страшный сон. Все, я побежала. До больничного приема еще увижусь с родителями. Нынче папин день.

Фридин отец-полицейский получал ежемесячное жалованье, что совсем недавно было знаком успешности и стабильности. Сие достижение среднего класса означало, что если кого-то собирались турнуть с работы, об этом извещали за месяц, дабы смягчить удар. Но в Германии 1923 года ежемесячное жалованье обернулось проклятьем. Все необходимое нужно было покупать на месяц вперед и делать это в первый же час после получения денег, ибо уже на

следующий день новый курс доллара превращал их в гроши, которых не хватит и на гороховый стручок.

– Дурь какая-то, что ты должна с ними возиться, – пробурчал Вольфганг.

– Ты же знаешь, самим им не справиться, – с порога ответила Фрида. – Предки все еще живут в тринадцатом году – так долго ощупывают каждый апельсин и обнюхивают сыр, что когда наконец решаются на покупку, она им уже не по карману. С рынка я сразу в клинику, тебе пасти мальчишек до десяти, потом явится Эдельтрауд. Вечером постараюсь вернуться до твоего ухода. Пока!

– Даже не поцелуешь? – надулся Вольфганг.

Фрида мгновенно размякла. Выронила сумку и подскочила к мужу.

– Конечно, поцелую, милый. – Она взяла его лицо в ладони и притянула к себе. Но вдруг отстранилась. – Чьи это духи?

– Что? – Лучше вопроса Вольфганг не придумал.

– От тебя пахнет духами. Чьими?

– Наверное, это… мой одеколон.

– Я знаю твой одеколон, Вольф. Я спрашиваю о духах. Женских. Я их слышу. Даже сквозь запах пота, виски и курева, – значит, кто-то был вплотную к тебе. Ты на прощанье с кем-то целовался, Вольфганг? Просто интересно.

Невероятно. В одну секунду Фрида воссоздала картину преступления.

– Ну что ты, ей-богу, – промямлил Вольфганг.

– Потому и задержался, да? – В ее тоне сплавились неискреннее простодушие и каменная жесткость.

– Нет! Я же сказал, с парнем говорил о работе. Его девица меня чмокнула…

Фрида большим пальцем мазнула по его губам.

– Жирные. Как от помады. В губы не чмокают, Вольф. *Чмокают* в щеку. В губы *целуют*.

Вольфганг оторопел. Он всегда знал, что жена его обладает острым аналитическим умом, – врач, в конце-то концов, – но сейчас это граничило с колдовством.

Вольфганг собрался. Пора переходить в атаку.

– Я ни с кем не целовался, Фрида, – твердо сказал. – Меня поцеловали, это совсем другой коленкор.

Правда – лучшая защита.

– Кто? – сощурилась Фрида.

– Бог ее знает.

Или хотя бы почти правда.

– Какая-то вертихвостка, – продолжил Вольфганг. – Она была с этим парнем, который предлагает работу. Девица вдруг меня обняла и поцеловала. Сказала, поклонница джаза.

– Хм.

– Что поделаешь, если я неотразим.

– Симпатичная?

– Господи, не знаю! Вряд ли, иначе я бы заметил. Я спешил уйти, и она меня поцеловала. Отметь, не я ее, а она меня. Если хочешь знать, твои подозрения меня слегка огорчают.

Прищуренный взгляд чуть смягчился.

– Ну-у, меня можно понять, – сказала Фрида.

– Только если допустить, что ты мне не доверяешь.

Пробило.

– Я работаю в ночных клубах. – Вольфганг стремился развить преимущество. – Там полно глупых девчонок. Что прикажешь делать? Нанять шесть телохранителей, как Рудольф Валентино?[23] Я не желаю быть заложником своей неодолимой привлекательности.

Фрида засмеялась. Он умел ее рассмешить.

– Ты прав. Я дура. Прости, Вольф.

– Вот ведь. Как будто я заглядываюсь на других.

– Я знаю. Извини. Устала… Но если еще увидишь эту вертихвостку, скажи, чтоб держалась подальше, ладно?

– Если увижу, скажу. Но вряд ли мы с ней свидимся, детка. Кажется, ты спешила?

– Господи, да!

Фрида опять взяла его лицо в ладони и притянула к себе.

– Кстати, бог с ней совсем, но то был не поцелуй. Вот что такое поцелуй.

Фрида приоткрыла губы и одарила мужа смачным поцелуем, полным изголодавшейся страсти. Радостно курлыкнул Отто, зажатый меж родителями.

– Погоди, опущу ребенка, – выдохнул Вольфганг, свободной рукой облапив жену.

– Нет, не могу. Извини, Вольф. – Фрида высвободилась. – Надо бежать. Папа взбеленится, если останется без селедки.

Подхватив сумку, она ринулась к двери.

– Нам надо больше времени уделять друг другу, – сказал Вольфганг, провожая ее.

– Знаю, милый. Но я работаю днем, ты – ночью, и у нас два карапуза. Обещаю, мы выберем время для нас с тобой, но только, наверное, когда мальчики вырастут.

Тряско и натужно подъехал лифт.

– Может, году в сороковом. Когда они будут студентами. Закажи столик в ресторане.

Вольфганг не улыбнулся.

– Я серьезно, – сказал он.

– Знаю, знаю, я шучу. – Фрида взглянула сквозь ромбовидные ячейки клетки-лифта. – Мы выберем время, правда. Постараемся.

Лифт вздрогнул, лязгнул и пополз вниз. Лодыжки, бедра, грудь. Прощальная улыбка, и Фрида скрылась в шахте.

Отто, радостно наблюдавший за маминым исчезновением, вдруг не смог с ним примириться и заревел. Вольфганг устало поплелся в квартиру.

Он думал о Фриде. О том, как сильно ее любит. Как сильно хочет. Как без нее ужасно плохо.

Потом в его мысли незвано явилась Катарина.

Наверное, она еще в клубе. Пьет, танцует. Жизнь в джазе, детка.

Вольфганг прошел в кухню и отыскал какой-то сухарик.

Не шибко джазово, детка.

Пропади он пропадом, Фридин папаша.

– Почему твои дед с бабкой сами не могут сделать свои блядские покупки? – спросил Вольфганг сына.

– Блядские, – повторил Отто. – Блядские покупки. Блядские. Блядские. Блядские.

[23] Рудольф Валентино (1895–1926) – американский киноактер итальянского происхождения, секс-символ эпохи немого кино.

Старый знакомый
Берлин, 1923 г.

На улице Фрида побежала к трамваю и чуть не попала под колеса. Машины ездили как бог на душу положит.

Вольфганг окрестил городской транспорт «механизированным дадаизмом». Та к он шутил. Дескать, в Берлине сюрреализм настолько популярен, что даже шоферы бросают вызов содержанию и форме.

Но Фрида, мать двух сорванцов, не видела в этом ничего смешного. И даже собирала подписи под обращением в городскую управу, промозглыми субботними утрами топчась перед входом в метро. Ответа пока не было. Газеты сообщали, что берлинские власти намерены последовать примеру Нью-Йорка и на Потсдамерплац установить первый светофор. Однако нововведение, полагала Фрида, в ближайшем и даже обозримом будущем вряд ли доберется до неброских улиц Фридрихсхайна.

Сделав две пересадки, она очутилась в районе своего детства Моабит, где до сих пор обитали ее родители, сейчас поджидавшие ее на ступенях Марктхалле, что на Йонас-штрассе.

Фрида любила бывать на этом рынке с большим арочным входом из красного и желтого кирпича. Его построили в 1891 году, за девять лет до ее рождения, и рынок всегда был частью ее жизни. Казалось, в этой огромной пещере Аладдина, шумной и полной лихорадочной суеты, отыщется любая волшебная диковина, какая только есть на свете.

В детстве она появлялась под этими стальными арочными сводами каждые выходные. Сначала в коляске, потом за руку с мамой. Позже прибегала в хихикающей болтливой стайке школьных подружек и, наконец, застенчиво прогуливалась с мальчиками. Здесь она познакомилась с Вольфгангом. Голодной зимой 1918 года тот был уличным музыкантом, и она угостила его вяленой говядиной, которую мать исхитрилась раздобыть ей на обед.

И вот, будто совершив полный круг, она сюда вернулась, только нынче *сама* за руку вела родителей.

Когда почти все покупки были сделаны, Фрида вдруг увидела Карлсруэна. Они не встречались с того дня, как бывший работодатель своим натиском положил конец ее карьере натурщицы, и сейчас Фрида поразилась, насколько он опустился. На рынке Карлсруэн не покупал, но торговал. На задворках громадного зала, где обосновались старьевщики, он установил маленький прилавок и вместе с женой пытался сбыть свои некогда бесценные произведения.

Жалкое зрелище. Чета Карлсруэнов исхудала и пообносилась. Прежде брыластые щеки скульптора обвисли складками. Супруги были без пальто и заметно зябли. Даже летом в павильоне гуляли сквозняки.

Карлсруэн и Фрида притворились, будто друг друга не заметили. Ни один явно не желал возобновлять знакомство.

К несчастью, герр Таубер тоже увидел прилавок и покатил к нему тележку с покупками.

– Взгляни-ка, мамочка! – позвал он жену. – Вот оно, подлинное искусство, не чета современной дряни. Фрида, иди сюда. Достань кошелек, я, пожалуй, что-нибудь куплю.

Фриде пришлось поспешить к отцу, который уже представился слегка встревоженному Карлсруэну:

– Таубер. Капитан полиции Константин Таубер, к вашим услугам. Великолепные творения, господин. Ей-богу, великолепные.

Теперь скульптор всерьез запаниковал – он явно решил, что потерпевшая все же надумала заявить об инциденте. Испуг его Фриду разозлил, ибо заявить-то стоило, и в свое время

лишь одно ее остановило: от голословного утверждения все равно не было бы толку. Однако сейчас лучше успокоить сладострастника, а то еще со страху заврется и выйдет черт-те что.

– Здравствуйте, герр Карлсруэн, – сказала Фрида. – Давно не виделись. Это мои родители. – И, будто в шутку, добавила, выдавив любезную улыбку: – Не волнуйтесь, папа не при исполнении.

Чего уж через год скандалить, подумала она, да и жену его жалко.

– Как, вы знакомы? – удивился герр Таубер.

Карлсруэн явно предпочел бы, чтобы семейство провалилось в тартарары, но ему ничего не оставалось, как представиться.

– Ваша дочь мне позировала, – сказал он.

Фрау Таубер чуть не выронила статуэтку:

– Боже! Позировала? Вот для этого?

Весь ассортимент статуэток состоял из голых дев. На лице фрау Таубер чередовались изумление и ужас.

– Да, – весело сказала Фрида. – Что, я не говорила?

– Говорила, что позируешь, но не… – Мать осеклась.

– Это я. – Фрида взяла фигурку. – Очень похоже, правда?

Герр Таубер выхватил у дочери статуэтку, но тотчас всучил жене, словно даже прикасаться к вещице было неприлично.

– Хочешь сказать, ты позировала совершенно голая? – спросил он.

– Да, папа. Тебе не нравится? А только что хвалил.

– Это Рейнская дева, – проворчал Карлсруэн, забирая статуэтку у фрау Таубер. – Разумеется, они всегда обнаженные.

– Да, Рейнская дева-еврейка. – Фрида одарила скульптора тяжелым взглядом. Вдруг опротивело стоять на цырлах перед ничтожеством. – Недурно? Что сказал бы герр Вагнер?

– Чепуха, Фрида! – воскликнул отец. – Немка есть немка. Две французские пули, застрявшие в моей ляжке, подтверждают, что дочь моя имеет полное право нырять в Рейн. Не так ли, герр Карлсруэн? Фрида – отменная нимфа!

Карлсруэн согласился и, поскольку Тауберы не собирались уходить, был вынужден представить свою жену. Фрида пожала ей руку, страдая не только из-за гадкой тайны, связавшей ее со скульптором, но и от удрученного вида фрау Карлсруэн. Напрашивалась мысль, что от уязвленной гордости супруга больше всех достается ей.

Герр Таубер уже преодолел первоначальный шок от изделий, запечатлевших его дочь в чем мать родила, и решил, что, в общем-то, есть повод гордиться Фридой, вдохновительницей великолепного немецкого искусства. Теперь он полностью одобрял авторский стиль и сюжет произведения.

– Если б ты позировала кому-нибудь из этих идиотских порнографов, с которыми наша слабоумная художественная критика носится как с писаной торбой, я бы встревожился, но здесь пример творчества патриота и благородного человека. Герр Карлсруэн, я вам салютую!

Таубер долго тряс руку скульптора, не сознавая кошмарной неуместности своих восторгов и не ведая о том, какое отвращение питают друг к другу его дочь и Карлсруэн.

– Знаешь, дорогая, – обратился Таубер к жене, – я считаю, мы должны это купить. В конце концов, не всякой девушке везет стать Рейнской девой. Ладно уж, в этом месяце обойдусь без бутылки шнапса.

Карлсруэн скривился, услышав о нынешнем эквиваленте своего искусства.

– Материал – бронза, подставка из мрамора, – пробурчал он, но жена его уже приняла деньги.

– Это тебе, дорогая. – Таубер торжественно вручил статуэтку Фриде. – Наверняка герр Карлсруэн согласится, что по красоте работа его уступает модели, но вещица славная, и я рад ее тебе преподнести.

Фрида подумала, что автор вряд ли согласится, но тот угрюмо промолчал.

Новая работа
Берлин, 1923 г.

– Это был «Аравийский шейх»[24], дамы и господа. – Вольфганг вытряхнул слюну из трубного мундштука в забитую окурками плевательницу. – Американская новинка! Безмерная благодарность нашему славному хозяину Курту Фурсту, который привлек мое внимание к столь зажигательной вещице. Перекур, и мы продолжим!

Разгоряченная толпа юношей и девушек в расхристанных вечерних нарядах требовала музыки, но взмыленные оркестранты скрылись в маленькой гримерной, отделенной от эстрады искристой наборной занавеской.

В тот день, когда Вольфганг и Курт впервые встретились, Курт, верный своему слову, купил этот клуб, и назавтра Вольфганг приступил к новой работе.

– Поздоровайся со своим новым боссом, мистер Трубач! – заорал жизнерадостный юнец, подкараулив Вольфганга на клубных задворках, где тот цепью привязывал велосипед. – Говорил же, что куплю этот гадюшник. Милости просим в клуб «Джоплин»[25], самое жаркое городское пекло!

Стараясь не запачкать пальто об обоссанные стены, в тени служебного входа стояла Катарина. Сквозь привычную маску утомленного безразличия пробивалась легкая улыбка.

Вольфганг улыбнулся в ответ.

Нервно.

Еще нынче утром он стирал с губ помаду этой женщины и врал Фриде, что не помнит, хороша ли незнакомка, хотя прекрасно помнил, до чего та хороша, и за день не раз об этом вспоминал, отжимая пеленки или на забаву мальчишкам вырезая потешные рожицы на яблоках и сыре.

Но куда денешься? Из-за миловидных девиц джазмен не вправе похерить работу. Иначе ее не будет вообще.

– Поздравляю, Курт, – сказал Вольфганг. – Выходит, я твой новый управляющий?

– Бьюсь об заклад, папаша, мы раскрутим этот гадюшник! – откликнулся Курт.

Войдя в сумрачный подвал, пропитанный спиртным и табачным смрадом, к которому примешивалась вонь хлорки из сортира, Вольфганг с Куртом именно этим и занялись. Раскруткой гадюшника.

Бесспорно, лучшего ангажемента Вольфганг еще не получал.

И дело не только в том, что Курт оказался до нелепого щедрым нанимателем и платил вдвое против обычного. Главное, он был истинным поклонником джаза и обожал его, как умеет только юность. Как первую любовь. Как открытие, совершенное его поколением. Джаз был религией Курта, его образом жизни. Он знал все записи, только что полученные из Штатов, и половину рядовых оркестрантов в Новом Орлеане поименно. Однако свой вкус не навязывал. Он безоговорочно уважал Вольфганга и предоставил ему полную свободу.

– Главное, чтоб забирало, папаша, – говорил он. – Жги, жги, жги!

Вольфганг боялся верить своей удаче.

– Всем прочим засранцам, у которых я работал, было плевать на музыку, – наутро после первой ночи в «Джоплине» рассказывал он Фриде. – Тугоухие хмыри терпели джаз лишь потому, что он притягивает бандитов и вертихвосток. Лишь бы публика платила – а там пусть

---

[24] «Аравийский шейх» (*The Sheik of Araby*, 1921) – джазовый стандарт американского композитора Теда Снайдера на стихи Гарри Б. Смита и Фрэнсиса Уилера.

[25] В честь американского композитора и пианиста, автора регтаймов Скотта Джоплина (1868–1917).

играют хоть колыбельные, хоть треклятого Вагнера. Даже те, кто притворялся, будто разбирается в музыке, предпочли бы, чтоб мы весь вечер гоняли «Александровский регтайм-бэнд» или «Парень на Янки Дудл»[26]. Нет, Курт – другой, душевный. Купил клуб лишь для того, чтобы слушать джаз. Большая-большая игрушка взрослого мальчика.

– Мило, – не отрываясь от бумаг, сухо заметила Фрида. Под кофе и кусочек черного хлеба она работала с какими-то сводками. – Вчера у меня было три случая рахита.

– Ого! – удивился Вольфганг. – Как-то невесело.

– Просто сердце разрывается. Нехватка питания, только и всего. И врач-то не нужен, нужна еда. Обер-бургомистр сказал, что из-за недоедания четверть берлинских школьников не дотягивают до нормального роста и веса. Представляешь? В двадцатом веке.

Конечно, от подобного отклика на чудесные новости Вольфганг сник.

– При чем тут рахит и недоедание, когда речь о моей новой работе? – спросил он.

– Абсолютно ни при чем. Прелестно, что город медленно умирает от голода, а взрослый мальчик забавляется собственным клубом, вот и все.

– Значит, Курт виноват, что страна в полной жопе?

– Не ругайся. Ребята, наверное, проснулись. Сам ведь знаешь, они все перенимают. – В формулярах Фрида ставила бесконечные галочки и крестики.

– Только послушайте великого радикала! Брань – язык пролетариата, не так ли? Я думал, ты горой за рабочий класс.

– Я хочу, чтобы мир был справедливым, а не грубым, Вольф.

– Ты говоришь, как твоя мать.

– Это укор, да?

– Сама решай.

– Я лишь прошу тебя следить за выражениями. Эдельтрауд рассказала, что пару дней назад в Фолькспарке старичок потрепал Отто по голове и наш мальчуган послал его на хер.

– Молодец! Нефиг ерошить чужие волосы. В южных кварталах Чикаго за такое убивают.

– Слава богу, Эдельтрауд сочла историю забавной.

Вольфганг зажег уже четвертую сигарету за утро, однако с новым жалованьем он мог курить сколько хочет.

– Слушай, мне нет дела до Эдельтрауд и старперов в парке. Меня интересует, почему ты считаешь, что моя новая работа как-то влияет на детский рахит.

– Хватит, Вольф. – Фрида отложила бумаги и отнесла чашку с тарелкой в раковину, по дороге половником прихлопнув таракана. – Ты прекрасно знаешь, что от нуворишей один вред. Если твой Курт покупает ночной клуб, значит, эти деньги он у кого-то забрал.

– У кого? У голодных детей?

– Косвенно.

– Эти деньги взяты из *ниоткуда*, Фрида! – Вольфганг разозлился. – Он берет ссуду, делает покупки и потом, когда марка падает, возвращает долг. Простая джазовая экономика. Жаль, на такие дела у меня кишка тонка. Курт не наживается на перепродаже в Бельгии старушечьих драгоценностей, он просто ловкач, вот и все.

Фрида села к столу и выдавила улыбку.

– Ладно, извини, Вольф. Знаю, я несправедлива. Просто работа замучила. Я и подумать не могла, что мне придется в основном наблюдать за умирающими детьми. Ты слышал, что туберкулез на триста процентов превысил довоенный уровень?

---

[26] «Александровский регтайм-бэнд» (*Alexander's Ragtime Band*, 1911) – первый хит американского композитора Ирвинга Берлина; существует мнение, что мелодия этой песни заимствована из черновика *A Real Slow Drag* Скотта Джоплина. «Парень на Янки Дудл» (*The Yankee Doodle Boy*, 1904) – песня из бродвейского мюзикла Джорджа М. Коэна «Маленький Джонни Джонс» (*Little Johnny Jones*).

– Знаешь, не доводилось. Нет времени на изучение медицинской статистики. Я вкалываю по ночам, чтобы не голодали *мои* дети. И жена моя, коли на то пошло.

Фрида стиснула его руку:

– Да, я знаю. Конечно, я рада твоему новому боссу. Здорово, что он любит твою музыку.

– Ты же помнишь, как меня воротило от допотопных танцев в Ванзее и Николасзее, но я играл, потому что надо было что-то есть, а ты решила за нищенское жалованье работать в общественном медицинском центре.

– Я помню, помню, – согласилась Фрида.

– И вот теперь, когда я получил и впрямь отменный ангажемент, я думал, ты порадуешься.

– Я рада, Вольф, правда. Извини. Иногда работа вконец достанет, вот и все. И я очень благодарна, что ради нас ты так пашешь. – Фрида перегнулась через стол и поцеловала мужа. – Ты совсем иначе представлял наше супружество, да? Кажется, предполагалось, что я буду тебе помогать.

– Да, предполагалось.

– Врач на шее у джазмена, – улыбнулась Фрида. – Такое только в Германии! Только в Берлине!

Жги, жги, жги!

Берлин, 1923 г.

Все рвались в «Джоплин».

Аристократы. Бедняки. Праведники. Подонки.

Уйма красавиц, уйма чудовищ.

С первого дня клуб ходил ходуном от легких денег, выпивки, секса, дури и джаза.

Дурь и секс были епархией Куртова приятеля Гельмута – «педрилы-сводника», который, как выяснилось, работал по наркотикам и проституткам.

И то и другое он частенько предлагал Вольфгангу.

– Выбирай, – говорил Гельмут, любитель широких жестов, указывая на изящных девочек (и мальчиков), которых в жизни не примешь за проституток. – Бери двух и сделай себе сэндвич. Не волнуйся, все чисты как роса. Полгода назад окончили пансион благородных девиц. Но папочка обнищал, а растущему организму надо кушать.

Угощение сексом Вольфганг вежливо отклонял, но время от времени охотно соглашался на химические стимуляторы. Ночи долги, а труба – взыскательный хозяин.

Фриде, конечно, ничего не говорил. Но ее рядом не было, можно не подчиняться ее правилам. Здесь клуб.

В конце концов, он джазмен. Джазмены никому не подчиняются. Вот в чем суть. Чуток кокаина под шампанское? Чем-то дивным затянуться вдогонку виски? Почему бы нет? Как тут откажешься?

И что такого, если в перерывах он все чаще болтал с Катариной? Преступление, что ли? Она ему нравилась. Не только потом у, что красивая (хоть это и неплохо), пленительная и загадочная.

Даже сногсшибательная.

Уж он-то повидал очаровашек.

Этаких невозмутимых распутниц-вамп, словно сошедших с киноэкрана.

Дело в том, что с ней было по-настоящему *приятно*.

Оказалось, у них общие интересы и пристрастия. Не только джаз – любое творчество. Когда Катарина говорила об искусстве, лицо ее оживало, глаза сияли. Тщательно отрепетированная поза – надменная пресыщенность жизнью – вмиг улетучивалась, и становилось ясно, что это всего лишь юношеское притворство, а в душе девушка – нескладный подросток.

Разумеется, Катарина мечтала стать актрисой. Немецкие киностудии были единственным реальным соперником Голливуду, и какая же берлинская девушка не хотела попасть на экран? Но в отличие от многих красоток Катарина не стремилась только в кинодивы. Не меньше она любила и театр – и, как выяснилось, бывала на тех же постановках, куда в редкие драгоценные выходные выбирались Вольфганг и Фрида.

– Тебе нравится Пискатор?[27] – пристрастно расспрашивал Вольфганг.

– Да, и я его видела живьем. После спектакля «На дне» караулила у служебного входа «Фольксбюне»[28].

– Любишь Горького?

– Конечно! Как можно его не любить? Лучше русских никто не пишет. Горький – гений, особенно в постановке Пискатора.

Вольфганг даже терялся, когда вдруг оказывалось, что Катарина гораздо лучше подкована в новой экспрессионистской драматургии. Она специально ездила в Мюнхен на спектакль «Барабаны в ночи» по пьесе нового автора, некоего Брехта, о котором Вольфганг и не слышал.

Катарина всегда знала, кто из берлинских знаменитостей почтил визитом «Джоплин».

– Представляешь, здесь Герварт Вальден![29] – взволнованно известила она, протиснувшись в крохотную гримерку и даже не заметив, что упревшие музыканты раздеты до трусов.

– Какой Герберт? – озадачились джазмены, знать не знавшие о выдающихся фигурах авангарда.

Но Вольфганг был в курсе.

– Господи, разговаривает с Дорфом, – шепнул он, подглядывая сквозь наборную занавеску.

– Наверное, картину продает.

– Издатель «Штурма»[30] слушает мой оркестр! – воскликнул Вольфганг. – Поразительно!

– Охолонись, малыш, – раздался голос с сильным американским акцентом. – Кем бы он ни был, он жрет и срет, как все. И потом, мы не *твой* оркестр. Запомни: мы – коллектив.

Томас Тейлор, «дядя Том», был одним из многих американских *черных* музыкантов, считавших, что в плавильне послевоенного Берлина жизнь легче, а работа денежней, чем на расово сегрегационной родине. Немецкий его был хорош, только с миссисипским налетом.

– Не спорю, собрал нас *ты*, но сам по себе я ничейный нигер, – продолжил Том. – А кто он такой, этот чувак Вальдорф?

– Вальден, – поправил Вольфганг. – Он не салат[31], а крестный отец берлинского экспрессионизма, футуризма, дадаизма, магического реализма…

– Видать, чувак тащится от «измов».

---

[27] Эрвин Пискатор (1893–1966) – один из крупнейших немецких театральных режиссеров XX столетия, теоретик театра, коммунист.

[28] «Фольксбюне» (*нем. Volksbuhne* – народная сцена) – немецкое театральное общество, основанное в 1890 г. в Берлине; под лозунгом «Искусство для народа» сочетало практику рабочих театров и народных университетов.

[29] Герварт Вальден (Георг Левин, 1878–1941) – немецкий писатель, музыкант, художественный критик, меценат и композитор еврейского происхождения, коммунист; один из крупнейших пропагандистов немецкого авангардного искусства начала XX столетия – экспрессионизма, дадаизма, «новой вещественности».

[30] «Штурм» (*Der Sturm*, 1910–1932) – немецкий литературный журнал Герварта Вальдена, одно из главных изданий немецких и австрийских экспрессионистов.

[31] Вальдорфский салат – классический американский салат из кисло-сладких яблок, сельдерея и грецких орехов под майонезом или лимонным соком с кайенским перцем.

– Портрет этого *чувака* написал *Оскар Кокошка*[32].

– Уж простите мою неотесанность, сэр! – заржал Том. – Кстати, если Оскар Кокошка – подлинное имя, я бы пожал руку его родителям.

В дверном проеме возник Курт, исполосованный шнурами наборной занавески. Его заметно качало. Катарина даже не попыталась скрыть брезгливость.

– Оркестр, жги! – заорал Курт. – Жги, жги, жги!

Он быстро напивался, затем накачивался дурью. «Раньше кокаин нюхал, теперь колется, – рассказывала Катарина. – Мерзость. Вообрази, вчера ширнулся в яйца. *При мне!* Дескать, особый кайф. По-моему, никакой кайф не стоит этакого свинства».

Курт ликовал.

– Клево забубенили, ребята! – Язык у него заплетался. – Обожаю… нет, это слабо… преклоняюсь… прям в душу… за живое…

Катарина выскользнула в зал.

– Улет, парни! – балаболил Курт. – Крутизна. Уж я-то понимаю в джазе, и это настоящий джаз, детка…

И без того словоохотливый, под кокаином он превращался в безумного говоруна. Курт *изрыгал* потоки слов. В струе безудержного восхваления они налезали друг на друга, пихаясь и сливаясь. Печальная картина. Лучший в мире босс съезжал с катушек.

Вольфганг подтолкнул Курта из гримерной. Иначе словоблудию не будет конца.

– Курт, нам надо собраться на следующий выход, – сказал он. – Отработать твои денежки.

– Да! Верно! Соберитесь! На следующий выход! – выкрикнул Курт, словно его озарила блестящая идея. – Этого мне и надо! И жги, жги, жги!

Кларнетист Венке презрительно фыркнул вслед нелепой мальчишеской фигуре, уковылявшей в зал. Превосходный музыкант, Венке всегда был мрачен и задумчив – неизгладимое последствие четырех лет в окопах.

– Хер буржуйский, – проворчал Венке. – Ничего, после революции мы его вздернем на фонарном столбе. От этой шушеры тянет блевать. Парни в губной помаде, девки светят грудями… Берлин превращается в выгребную яму.

– При мне попрошу не хаять Берлин! – дружелюбно рассмеялся Том Тейлор, прикладываясь к фляжке, которую держал во внутреннем кармане смокинга. – Я люблю этот город. Знаешь почему? Потому что здесь *нигер* не я, а Вольфганг. Чудеса, да? В Штатах я черномазый, а здесь нет. Наконец-то я нашел город, где кого-то ненавидят больше негров, и пою аллилуйю евреям.

– Дай только бандитам из «Штальхельма» проведать, что ты трахаешь немку, – быстро поймешь, кто у нас негр, – заметил Вольфганг.

– Не-а, меня не застукают, – заржал Том. – Я не стану приглашать зевак. Хотя мастер-класс в дрючке им бы не помешал, – добавил он, опять глотнув из фляжки. – *Американский* стиль, неспешный и свободный, как тягу-у-у-учий блюз!

– Скажу от лица мальчиков в губной помаде, столь немилых Венке, – вмешался саксофонист Вильгельм – наштукатуренный парень с зеленой гвоздикой в петлице. – Коль притомишься от наших городских чаровниц, зови меня, Том, не стесняйся. Я не прочь отведать черняшки.

– Непременно запомню, фройляйн, – усмехнулся Том. – Позову, когда рак на горе свистнет.

– Шобла декадентских распиздяев, – проворчал Венке.

---

[32] Оскар Кокошка (1886–1980) – австрийский художник и писатель чешского происхождения, крупнейшая фигура австрийского экспрессионизма.

– Конечно! – гаркнул Вольфганг. – Мы джазмены. Декадентское распиздяйство входит в наши должностные обязанности. Ну, пошли. Как говорит наш босс, пора замандюлить, папаша!

В середине второго отделения он заметил, что Катарина сбегает. Поверх раструба инструмента он видел, как она пошла к выходу. С мужиком. Накануне Катарина небрежно представила Вольфганга этому важному киношнику со студии «УФА». Чванливый потный толстяк лет под пятьдесят.

Конечно, это ее дело.

Никого не касается.

Никакой ревности.

Они просто друзья.

Но когда пухлая, унизанная перстнями рука продюсера по-хозяйски легла на изящную обнаженную спину Катарины, Вольфганг в ошеломлении понял, что умирает от ревности.

Сент-Джонс-Вуд
Лондон, 1956 г.

Окна его квартиры выходили на Риджентс-парк. На жалованье министерского чиновника такое жилье не купишь, но помогли деньги от продажи родительской квартиры в Берлине – родного дома, в сорок втором украденного нацистами и чудом уцелевшего в союзнических бомбежках.

Прощальный дар любимых мамы и папы.

Шагая от метро «Сент-Джонс-Вуд», Стоун гадал, застанет ли еще Билли. Девушка оставалась у него только на выходные, а в понедельник уходила, но всегда в разное время. Она не из тех, кто живет по расписанию.

Дожидаясь лифта, Стоун вдруг понял, что *надеется* ее застать. Можно вместе выпить кофе и послушать пластинку, продолжив джазовое образование Билли.

Стоун постарался отогнать эти мысли.

С тридцать девятого года он избегал всяких привязанностей. Всегда уходил, если чувствовал, что с кем-то слишком сближается. Особенно с женщиной. Билли ему нравилась, с ней было хорошо, и одно это наводило на мысль, что пора прекратить их встречи.

С чего он решил, что имеет право на простые удовольствия?

Он ведь выжил.

И вообще, он любит Дагмар. И всегда будет любить. Как обещал на вокзале Лертер.

С Билли, уроженкой Вест-Индии, он познакомился прошлым летом на подвальной тусовке на Лэдброк-гроув. Стоун любил бывать в Ноттинг-Хилле. С тринадцати лет хоть в чем-то да изгой, он симпатизировал переселенцам, недавно обосновавшимся в Западном Лондоне.

Ну вот, еврейского полку прибыло, как-то пошутила Билли. Лучше оставайся в резерве, ответил Стоун.

Ему нравились музыка и бесшабашность ее земляков, плевавших на условности и авторитеты. Нравилось их веселье, хотя сам он не веселился, нравились танцы, хотя сам он не танцевал. Еще он узнал, что марихуана – приятная альтернатива скотчу, который с войны помогал ежевечерне скрываться от мира.

Какое облегчение после долгого дня в напыщенной сухости Уайтхолла скоротать вечерок в шумном взопревшем многолюдстве: поймать кайф и слушать непривычную музыку, наблюдая за танцевальными парами, в тесном объятии слившимися в единое существо. Вспоминались рассказы отца о маленьких ночных клубах, где грохочут ритмы и полыхает секс, – о клубах, где выступал Вольфганг Штенгель, пока хлыст не рассек воздух. Отец говорил, что в те дни Берлин был прекрасен, буен, шал и жизнеутверждающ.

В маленьких подвальных клубах, которые вмиг, не озаботившись лицензией, открыли выходцы из Вест-Индии, Стоун будто приближался к отцу. Он тешился мыслью, что картина перед его чуть прикрытыми глазами мало чем (разве что цветом кожи танцоров) отличается от той, которой из-за раструба инструмента улыбался Вольфганг в безумные и беспечные ночи давней иной жизни.

Правда, иногда лишняя затяжка или лишний глоток преображали видение, и тогда в одурманенный мозг пробивался бредовый кошмар: распахивалась дверь, в подвал вваливалась толпа кретинов в коричневых рубашках с черно-красными нарукавными повязками, и дубинки превращали изящных юных танцоров в кровавое месиво выбитых зубов и переломанных костей.

Если подобные картины зачастили, в косяк клади побольше табаку, советовала Билли. Раз так сильно глючит, пора притормозить.

Она еще не ушла.

За приоткрытой дверью спальни из-под простыни высовывалась изящная смуглая ступня с идеальными ноготками под темно-красным лаком.

– Ты еще здесь? – окликнул Стоун. – Хорошо быть студенткой, а?

– Не вольнуйся, дружёк, через час урёк по трафаретный печать, – ответил веселый голос в спальне. – В утре нет занятий, и я маленько читаля в постеля, но секюнда, голюбчик, и я уберюсь с твой гляз долёй.

Ну и фонетика, подумал Стоун. Даже разговор об учебе выглядит игривым трепом. Хоть один немецкий диалект обладает этакой беспечной свежестью?

– Не спеши. Времени полно. Поваляйся еще, если хочешь.

Стоун налил воду в чайник, ложкой отмерил зерна и включил электрическую кофемолку. За кофе приходилось ездить аж в Сохо. К непопулярности кофе на приемной родине он так и не привык.

– Нет, малиш, польно делёв. – Было слышно, что Билли встала и одевается. – Не могю ждать, покюда меня отщворят.

Стоун покраснел.

– Да нет, я в том смысле… то есть… успеешь позавтракать.

Уловив его смущение, Билли рассмеялась:

– Не-а. На завтряк и всяк утехи нет времени, дружёк. Ха-ха! Но кофейку глётну. От запах свежемолётый кофе мне не устоять.

Милые отношения. Таких еще не было. Дружба и постель. Билли тоже не стремилась к чему-то серьезнее, но совсем по иной причине. Как говорится, она – на ярмарку, он – с ярмарки.

Молодая, раскованная, честолюбивая. Ей некогда тратить время на влюбленность. Особенно в него, решившего, что не заслуживает счастья.

– В тебе тёмится мильён бесов, дружёк, – в одну из первых ночей сказала она. – Сделяй милёсть, не выпюскай их, когда я рядом, лядно? Мне своего дерьма хватяет.

– Я и так не выпускаю, – ответил Стоун. И впрямь не выпускал.

Через минуту Билли вышла из спальни, на ходу влезая в туфли. Поразительно, как быстро она обретала безупречный вид.

– Пара минут, и кофе будет готов, – сказал Стоун.

– Еще мясса время. До колледж всего ничего. Зняешь, ты мне люб одним – сьвоим адресём, – поддразнила Билли и, усевшись за стол, достала помаду.

Она училась на третьем курсе текстильного отделения. От квартиры Стоуна до политеха в Кентиш-Тауне минут пятнадцать ходу.

– Конечно, знаю. Рад быть полезным. Других причин для симпатии и не нужно. Слушай, нельзя намазаться после кофе? Потом чашку фиг отмоешь.

– Пёздно. – Билли промокнула ярко-алые губы и сунула салфетку в кармашек Стоунова пиджака, висевшего на спинке ее стула. – Чтоб на неделя меня вспёминать. Ха-ха!

Стоун бы не обиделся, если б она и вправду сошлась с ним только из-за удобства его квартиры. Не такое уж он сокровище – старше на четырнадцать лет, да еще влюблен в воспоминание. Случалось, он нравился женщинам (интересно, чем?), но уж Билли-то могла найти себе кого получше. Его захудалая кухонька буквально озарялась, когда в нее входила эта невероятно элегантная умница в красивом розовом костюме – жакет и узкая юбка – и в тон ему берете, чудом державшемся на иссиня-черном перманенте а-ля Мэрилин Монро. Широкая улыбка ее просто излучала жизнелюбие.

Стоун налил кофе в чашки. Билли уложила в рюкзак карандаши, бумагу, библиотечные фотоальбомы и картонку с образчиками тканей, которые, не удержавшись, нежно погладила.

– Прётивополёжности притягиваются, – сказала она, будто читая его мысли. – Я люблю тихёнь. Не мешают тебе быть центр внимания.

Билли глотком выпила свой кофе, закинула рюкзак на плечо и, цапнув гренок с конфитюром, который Стоун только что себе приготовил, устремилась к двери.

– Значит, до виходных, – с полным ртом проговорила она. – Хёчешь, махнем ко мне. Мама готёвит свинина, обжаренная с имбирь и специи. Давай, если что.

– Вообще-то я не ем свинину. Не знаю почему. В детстве ел.

– Мамина съешь за милий душа.

– Не сомневаюсь. Только в конце недели я уеду. Я говорил, что собираюсь в Берлин, помнишь?

– Ах да, тёчно. Затерянная подрюжка, да? Ха-ха! Удячи.

– Она была девушкой моего брата.

– Вёт уж, поди, жалилё!

Стоун не рассказывал о своих чувствах к Дагмар, но, вероятно, все и так было видно. Женщину не проведешь.

– Привезу тебе сладких брецелей, – сказал Стоун.

– Спасибё, не надо. На диета. Вёт если б что-нибудь про Баухаус[33]. Пусть на немецкий, глявное – фёто. Звякни, как верьнешься. Конечно, если не спютаешься с девюшка *брудера*.

– Вечером я свободен, – машинально сказал Стоун. – Можем вместе поужинать.

– Не-а. Позирую в худёжественный училищ. Стюденты меня обожяют. Гёвёрят, экзётичная. Что зяпоете, гёвёрю, когда сюда припливет паря мильёнов моих братёв и сёстрь. Бюдет вам экзётика. Ха-ха! Задюмались.

Цокая шпильками, Билли ушла.

Забавно, что она подрабатывает натурщицей.

Просто совпадение. Однако приятное. Мостик к матери, как подвальный клуб – мостик к отцу.

Прихватив кофе, Стоун прошел в маленькую гостиную. С полки над газовым камином взял статуэтку.

Потрогал ее гладкие приятные изгибы. Порочно ли гладить изображение голой матери? Уж Фрейд бы нашел что сказать.

Иногда Стоун ненавидел статуэтку. Из-за ее автора. Но чаще любил. Потому что это его мать. Фрида в первый год жизни сына-несмышленыша. Двадцатидвухлетняя, нагая, в расцвете юности. Статуэтку купил дед, она всегда стояла в их квартире. В 1946 году, перед продажей квартиры, немецкий маклер собрал все уцелевшие семейные пожитки и отправил Стоуну в Лондон.

Интересно, сколько истинных нацистов лапало статуэтку в те годы, когда квартиру занимало неведомое семейство – кровожадные кукушки, захватившие его родное гнездо? Вот уж ворюги бы ошалели, если б знали, что трогают изображение еврейки. Наверняка был какой-нибудь Нюрнбергский закон, гласивший: *ни один истинный ариец не прикоснется к изделию, если среди предков его модели один или более – евреи.*

Отец терпеть не мог статуэтку.

Стоун усмехнулся. Вольфганг Штенгель впадал в карикатурную ярость, когда кто-нибудь ее хвалил.

Творение попирало все его художественные принципы. Унылый реализм и больше ничего, вопил он. Именно поэтому статуэтка нравилась Стоуну и брату. Именно поэтому Стоун

[33] Баухаус (1919–1933) – немецкая Высшая школа строительства и художественного конструирования, а также архитектурный стиль, который ею пропагандировался; сильно повлияла на европейский и американский дизайн.

и сейчас ее любил. За унылый реализм в умелом исполнении. Сносный образ любимой матери. Не столь прекрасный, какой она была в жизни, и все же прекрасный.

Стоун взял статуэтку за голову.

Как в ту ужасную ночь.

В хватке побелевшие костяшки.

Мраморная подставка в крови.

Из крана льется вода, смывая кровь, розовые потоки исчезают в сливе. Они с братом лихорадочно уничтожают следы преступления.

Слишком много джаза
Берлин, 1923 г.

Клуб, как выразился Том Тейлор, ходил ходуном.

– Во зажигаем! – крикнул он из-за барабанов. – Лучше лабухов и в Нью-Йорке не сыскать!

Вольфганг опробовал новую пианистку – русскую эмигрантку Ольгу, уверявшую, что она царевна. Или какая-то княжна. В то время все русские беженки назывались великой княжной Анастасией. Скорее всего, Ольгин папенька был невежественным селянином, в обмен на свои чрезмерные стада и поля получившим пулю в затылок. Неудивительно, что Ольга ненавидела Венке, кларнетиста-коммуниста, и тот отвечал ей взаимностью.

Конфликтность Вольфганг одобрял.

– Нам нельзя быть закадычными друзьями. Это размягчает, – сказал он. – В миноре полезен этакий раздрай. Вон какие у Венке теперь едкие атональные импровизации.

– Вот бы еще бешеная собака вцепилась в его атональную жопу, – процедила Ольга, пыхнув сигарой.

– Играй пока, княжна. – Венке дунул в кларнет. – Всю жизнь не побегаешь. Все равно революция тебя настигнет, а вас, кулаков, ждут не дождутся фонарные столбы.

– Немчура краснопузая! – фыркнула пианистка. – Революция, как же! Без письменного указания Москвы вы даже не пернете. Выпьем за Ленина и его четвертый инсульт! Говорят, речь отнялась. Дай знать, когда эта сволочь окочурится, я всем поставлю выпивку!

Ольга сплюнула на пол и отсалютовала Венке стаканом водки с перцем. Дабы остановить назревавшую драку, Вольфганг объявил следующий номер.

– Последняя новинка! – крикнул он, перекрывая шум зала. – Думаю, вам понравится, а уж мы-то от нее без ума. Сочинение великого негритянского композитора Джимми Джонсона[34] из Нью-Джерси. Называется «Чарльстон»!

Том Тейлор отбил вступительное соло на барабанах, и оркестр грянул пьесу, которая с ходу стала гвоздем сезона.

Глаза Вольфганга за медным соплом трубы лучились счастьем. Вот об этом он и мечтал: каждый вечер битком набитый зал, светильники в дымном мареве. Извивающиеся тела. Искаженные лица. Выпивка, девушки, веселье. Красота! Три месяца промелькнули как одна неделя. «Джоплин» стал вторым домом.

«Шобла» Курта стала и его кругом.

Даже та бесчувственная девица, что в вечер знакомства сползла под стол, оказалась вовсе не опившейся шлюхой. Ее звали Хелен, и она, несмотря на свои двадцать лет, уже руководила закупкой модных товаров в огромном универмаге Фишера на Курфюрстендамм.

– Извини за вчерашнее, – хихикнула она при следующей встрече. – Наверное, вела себя ужасно, но ничего не помню. Маленько промахнулась с дозой. Бывает.

Заразительная оптимистка Хелен считала, что почти все и все по-своему интересны и увлекательны.

– Зануд я воспринимаю как черновик, который нужно переделать, – делилась она с Вольфгангом. – В каждом скрыто что-то любопытное, правда? Даже то, как он дышит. Нет, если и впрямь задуматься. Верно? Скажи, а?

Хелен оставалась очаровательной балаболкой и хохотушкой, пока ее не вырубали дурь и выпивка. Без предуведомлений о том, что «гиря до полу дошла» (ее выражение), девушка

[34] Джеймс Прайс Джонсон (1891–1955) – американский джазовый пианист, композитор, основоположник джазового стиля страйд; «Чарльстон» (*Charleston*, 1923) был написан на стихи Сесила Мэка.

просто закатывала глаза и сползала под стол. Гельмут всегда следил за тем, чтобы ее отнесли в машину и доставили домой к любящим родителям. Эффектная, порочная, шалая и живая, она была истинной джазовой девочкой, и в любом другом клубе на перекурах Вольфганг непременно баловал бы себя общением с этакой искрометной поклонницей.

Только не в клубе, где была Катарина.

Он не мог тратить драгоценные перерывы на болтовню с другими девушками, пусть хоть чаровницами из чаровниц.

Вольфганг понимал, что это опасное сближение. Нельзя так желать встречи с ней. Высматривать ее со сцены. Разыскивать в перерывах. При всякой возможности сидеть с ней в баре. Взахлеб делиться впечатлением об очередном спектакле или выставке.

Хотя какая тут опасность. Ведь она с Куртом. А Вольфганг счастлив в браке.

Да, она его поцеловала в утро знакомства, но с тех пор – ни разу. Не накрывала ладонью его руку, когда он подносил огонь. Не завораживала взглядом сквозь дым, выпущенный из губ в той же пурпурной помаде.

В этот ноябрьский вечер, недельный юбилей «Чарльстона», Вольфганг объявил перерыв и тотчас отыскал Катарину в баре.

Они сошлись в том, что музыкальная новинка сногсшибательна.

Позубоскалили над гневливым кларнетистом-большевиком и его врагиней, русской сквернословкой.

Обменялись впечатлениями о постановке в Народном театре последней пьесы Георга Кайзера[35] «Сосуществование» в декорациях Жоржа Гросса, их любимого художника.

А потом Вольфганг спросил, почему при знакомстве Катарина его поцеловала.

Вопрос выскочил, как убийца из подворотни. Вернее, как джинн из бутылки. В тот вечер Вольфганг явно перебрал.

– Странно, что ты спросил, – сказала Катарина.

– Сам удивляюсь.

Она пригубила шампанское.

– Наверное, была чуть пьяная. И ты мне понравился. Помнишь, что я сказала? Мол, ты очень клевый. Нагло, да? Что ты женат, я узнала уже *после* поцелуя. Знаешь, на сцене ты не выглядел женатиком.

Во взгляде ее не было дерзости. Катарина потупилась, уставившись в пепельницу.

– И к тому же ты с Куртом, – добавил Вольфганг.

– Марафетчиком? Была, теперь нет.

– Значит, ты одна? – Вольфганг сообразил, что спросил слишком поспешно и пылко.

– Да. Незанятая. Это про меня. – Катарина невесело усмехнулась. – Счастливица, верно?

– А если бы… если бы… – Вольфганг глотнул скотч, бесшабашно сознавая, что и так уже выпил лишнего.

– Что – если бы? – спросила Катарина.

– Если бы я был один? Ну вот ты меня поцеловала – а я ничего не сказал о жене и детях.

– Тогда я бы снова тебя поцеловала, мистер Трубач. А потом еще и еще, пока не закончилось бы твое и мое одиночество.

Вольфганга тряхнуло, все существо его откликнулось на эти слова.

Взгляд Катарины затуманился.

– Но ты *сказал* о жене и детях. Это меняет дело, поскольку я, видишь ли, современная девушка со старомодными понятиями. Конечно, хорошо бы, – мечтательно вздохнула она, – если б ты встретил меня, а не свою преданную докторшу. Я была бы не прочь иметь в дружках джазмена-театрала.

---

[35] Георг Кайзер (1878–1945) – немецкий драматург-экспрессионист, поэт и прозаик.

Хмель добрался до головы и наделил безрассудной отвагой. Вольфганг потянулся к руке Катарины. К пальцам с ногтями под черным лаком, державшим сигарету.

– Вот мы и встретились, – тихо сказал он.

Их руки соприкоснулись.

Катарина опустила взгляд и как будто крепко задумалась.

Потом убрала руку, поднесла сигарету к губам и глубоко затянулась.

– Говорю же, я современная старомодная девушка. Пусть все остается как есть, ладно? Мы друзья. Беседуем. Ты женат.

Вольфганг понял, что сглупил. И разозлился. Хмель приволок с собой и хамство.

– Старомодная? А как же продюсер с «УФА»?

– Что?

– Ничего. – Даже пьяный, Вольфганг смекнул, что перешел грань.

– Нет уж, говори, – потребовала Катарина.

Вольфганг пожал плечами и промямлил, глядя в сторону:

– Мужик, с которым ты вчера ушла. Вряд ли ему не терпелось обсудить кинопроизводство.

Пристальный взгляд Катарины был ясен и жёсток.

– Значит, ты заметил?

– Конечно, заметил. Я… ревновал.

– Ты женат на фрау Трубач. Какое право ты имеешь ревновать?

– Наверное, никакого, но ревновал.

Катарина вмиг смягчилась. И погрустнела. Вновь глубоко затянулась, спалив сигарету до фильтра. От окурка прикурила новую. Поежилась.

– Это бизнес. Глупый, абсолютно наивный, но все же бизнес. Роль через постель – кажется, так это называется. Он обещал, и я клюнула. Настолько, чтобы расчетливо рискнуть и проиграть. Он получил что хотел, я – нет. Утром пришла на студию, а он меня не принял. Сама дура. Моя первая и последняя подобная ошибка.

Вольфганг успокоился. И устыдился.

– Прости, Катарина. Зря я затеял… морду бы набить этой сволочи…

– Да ладно. Тык-пык и до свиданья. Но если я готова переспать с тем, кто мне противен, и потом оправдываться, дескать, так было надо, я вовсе не хочу трахнуться с тем, кто мне вправду приятен, и потом говорить, мол, были пьяные, устали и от джаза очумели. Ты, кстати, больше, чем я. А потому играй, а затем иди домой к доктору Штенгель, пока не угробил мое расположение к тебе.

Вольфганг слез с высокого стула.

– Что ж, ты права. Извини за дурость. И спасибо за… в общем, спасибо.

– Иди на сцену. И жги, жги, жги, понял?

На пути в гримерную Вольфганг увидел Гельмута, сопровождавшего бритоголового вояку и смазливого юношу в мужской туалет.

– Гулянке нет конца, верно? – сказал Гельмут.

Вольфганг усмехнулся:

– Боюсь, когда-нибудь придется закончить.

Через две недели, 15 ноября, новый президент Рейхсбанка упразднил обесцененную дойчмарку и ввел переходную валюту, категорически запретив ссуды и биржевую игру. Так называемая рентная марка удержала свою стоимость, в одночасье разделавшись с очередным немецким безумием.

Крикливый трехлетка
Мюнхен, 1923 г.

В то же самое время в Баварии крепчало иное безумие, гораздо кошмарнее. Нацистская партия, громогласное взбалмошное дитятко, родившееся в один день с братьями Штенгель, накануне своего трехлетия взбеленилась. Адольф Гитлер, ее глас и душа, попытался устроить государственный переворот. Взяв в заложники трех местных политиков, во главе двухтысячной вооруженной банды он промаршировал от пивной к министерству обороны, вознамерившись установить свою диктатуру не только в Баварии, но и во всем рейхе.

Гитлер и его бандиты до министерства не дошли. Путь им преградила сотня полицейских. В короткой перестрелке погибли четверо служителей правопорядка и шестнадцать нацистов. Гитлер смылся, но другой партийный лидер, Герман Геринг, был серьезно ранен. Его занесли в банк, где первую помощь ему оказал один клерк. Еврей.

Современный джаз
Лондон, 1956 г.

К вечеру собственная квартира осточертела и Стоун решил прогуляться. Все равно уже не позвонят. Секретная служба схожа с министерством иностранных дел – работает в присутственные часы, а на сверхурочные труды смотрит косо.

В одиночестве отужинав яичницей с беконом под бутылку «Гиннесса», Стоун надумал отправиться к Финсбери-парку и заглянуть в «Новый ритм» – понедельничный ночной джаз-клуб; прежде он частенько там бывал, но потом променял его на заведения Ноттинг-Хилла. Нелегальные клубы выходцев из Вест-Индии казались гораздо отвязнее и круче благонравных лондонских джаз-пабов, куда ходили серьезные студенты из среднего класса. Но джаз Стоун по-прежнему любил. Табби Хейс[36] регулярно получал ангажемент в «Новом ритме», а лучшего тенор-саксофона не сыскать. Отец Стоуна обожал саксофон, но сам играл редко – знал, что уступает иным коллегам-оркестрантам. Поэтому на саксофоне играл дома и изредка в барах на джем-сейшен. Стоун считал саксофон «домашним» инструментом. Папино хобби, не работа.

Он взял такси. «Новый ритм» располагался прямо напротив метро «Мэнор-Хаус», но вечерами Стоун избегал подземку. Сам заядлый курильщик, он не выносил накопившуюся за день стоялую табачную вонь, сдобренную человечьими испарениями. Стоун откинулся на сиденье и закурил «Лаки Страйк», поглядывая на световые полосы от уличных фонарей, временами пронизывавшие машину.

Вспомнилось, как однажды он наблюдал за такими же всполохами. В спальном вагоне поезда Берлин – Роттердам. Тесное купе, перестук колес, лязгающая вагонная качка и тьма за окном, прореженная огнями станций.

Стрелка на его часах отсчитывала секунды.

Стоун подставил часы под свет. Те же самые часы. Берлин, Роттердам – Лондон. Похоже, он все еще в дороге.

Стоун закрыл глаза. Мысленно перенесся далеко-далеко. К началу путешествия. В иное время. Иное место. Туда, где был счастлив.

Далеко-далеко от Камдена, Холлоуэя и Севен-Систерс-роуд. В Народный парк. В «Волшебной Стране» крики, смех, фонтаны и сто шесть скульптур сказочных персонажей. По большой круговой тропе Стоун и брат бегут навстречу друг другу. Между Рапунцель и Красной Шапочкой ловят Дагмар. Хватают ее за мягкие золотистые ручки и выпрашивают поцелуй, а неподалеку Зильке куксится и обзывает их дураками.

В такси Стоун затянулся сигаретой. Интересно, бродит ли Дагмар среди этих каменных изваяний, вспоминая об ушедших днях? «Волшебная Страна», чудом уцелевшая в бомбежках, теперь в Восточном секторе. Приходит ли туда Дагмар? Вспоминает ли о догонялках за поцелуй под бдительным оком Рапунцель, Красной Шапочки, Белоснежки, Спящей красавицы и прочих обитателей Сказочной страны?

Может, по дороге на службу?

В Штази.

Голос таксиста перебил его мысли:

– Доехали, приятель. Паб «Мэнор-Хаус».

Стоун даже не заметил, что машина остановилась.

Он приехал слишком рано, и зал был почти пуст, но опыт подсказывал, что народу набьется битком, а потому Стоун сразу застолбил себе место. Взяв стаканчик виски и пинту

[36] Эдвард Брайан «Табби» Хейс (1935–1973) – британский джазовый музыкант, саксофонист, флейтист и вибрафонист.

пива для лакировки, он занял столик поближе к эстраде – с той стороны, где расположится духовая секция. Соседей по столику не избежать, однако хотелось максимально снизить шансы досужего трепа. Уж сколько раз бывало – только погрузишься в музыку, как влезет какой-нибудь умник, которому неймется продемонстрировать свои энциклопедические познания в технике джаза: «Недурственная септима, а? Что скажете о мелодическом миноре? Клево».

Стоун предпочитал быть нелюдимом. Праздная болтовня его не привлекала. Давнишний завсегдатай джазовых клубов, он привык остерегаться молодчиков, которые бесцеремонно шваркали свои пинты и трубки рядом с его пачкой «Лаки», вообразив, что случайный перегляд во «Флориде», «Фламинго» или «Студии 51» возводил их в ранг его джазовых приятелей.

Стоун закурил и развернул газету, купленную возле метро. Конечно, опять Суэц и Венгрия. Читать не хотелось, но газета – удобная ширма от незваных собеседников, желающих поболтать перед концертом.

Понемногу зал наполнялся. Типично джазовой публикой, нарочито показушной. Шерстяные пиджаки, вельветовые туфли. Прямо слет лейбористов в Хэмпстеде, подумал Стоун. Только люднее. В воздухе витало этакое благоговение, голоса приглушенные, лишь изредка кто-нибудь смеялся громко и деланно, демонстрируя свою раскрепощенность. Как вышло, что искусство, некогда растормошившее весь мир, стало таким изысканным? В отцовы времена джаз был громкой и хмельной музыкой вечеринок, которую не просто слушали – под нее отплясывали. Может, дело в джазовой классовости? Поначалу регтайм и дикси принадлежали бедноте и декадентской элите. Потом эти две группы четко размежевались и джаз вместе с программами Би-би-си и лозунгом «Запретите бомбу!» стал достоянием среднего класса.

– Извините, у вас занято?

Стоун поднял взгляд. Хороший вариант. По виду студенты. Эти не полезут с разговорами к серьезному дяденьке. Четверо. Два битника и две цыпочки.

Классические стиляги. У цыпочек короткие прямые челки. Полосатые джемперы и брючки в обтяжку. Голые икры. Битники в пуловерах. Жиденькие козлиные бородки. Черные джинсы. Высокие замшевые ботинки. Один в берете, из нагрудного кармана вельветового пиджака выглядывают солнечные очки.

Два битника. Две цыпочки. Два стула.

– Нет, свободно, – ответил Стоун.

Битники плюхнулись на стулья, цыпочки – им на колени. Одна пара достала барабаны бонго и потрепанную школьную тетрадь. Видимо, сообразил Стоун, после концерта хотят предложить остаткам публики ритмизованную поэтическую декламацию. Ну уж он-то не задержится.

Под легкие аплодисменты и уважительные кивки появились музыканты. Битники явно хотели похлопать и покивать, но им мешали цыпочки на коленях. Рукам препятствовали девичьи талии под шерстяными джемперами, а головы утыкались в девичьи спины. Вскоре извертевшиеся цыпочки отбыли на стоячие места в конце зала. Вряд ли эта музыка их интересовала вообще. Похоже, джаз стал чисто мужским увлечением. Еще одна удивительная перемена. Прежде все было иначе. В отцовы времена девушки обожали джаз. Джазовые малышки были символом двадцатых годов. Клубы, рассказывал отец, ломились от девиц с круглыми глазищами а-ля Бетти Буп[37] и пухлыми губами гузкой.

Все неотразимые симпатяги, говорил папа, и ночь напролет отплясывали шимми.

Мама закатывала глаза.

Стоун не застал тех времен. Когда они с братом подросли, нацисты уже давно предали анафеме так называемую «негритянскую музыку» и закрыли евреям вход в ночные клубы.

[37] Бетти Буп – персонаж короткометражных мультфильмов американского аниматора и кинорежиссера Макса Флайшера, секс-символ 1920—1930-х гг., кокетливая дамочка с огромными удивленными глазами.

Вольфгангу запретили играть. Еврейские музыканты могли выступать только перед евреями. Но культурные евреи желали слушать одного Мендельсона. Видимо, его музыка напоминала о том, что некогда они были немцами.

На эстраду вышли трубачи. Нынче почему-то их было двое. Прихлебнули пивка, перебросились парой слов. Продули инструменты, взяли ноту-другую. Подышали на пальцы. Прикрыв глаза, Стоун постарался представить отца. Наверное, он точно так же готовился. Тоже дышал на пальцы.

По правде, ради этого Стоун и приходил. Нет, джаз он любил, но главное здесь – закрыть глаза и вообразить отца. А потом добавить в картину брата. И увидеть то, о чем мечталось.

В детстве было не одно утро, когда они с братом просыпались – Вольфганг не умел вернуться с работы бесшумно – и шепотом строили планы, как однажды вечером проберутся в клуб и послушают папину игру. Спрячутся на задах того волшебного места, которое родители называли «ночным клубом», и проникнут в папин таинственный мир.

Конечно, не сбылось.

Но когда в маленьких лондонских пабах чуть захмелевший Стоун прикрывал глаза, в дымном мареве возникал отец, а рядом сидел брат, и сбывалось все, о чем мечтали в уютных кроватках, стоявших в маленькой комнате берлинской квартиры.

Табби, руководитель оркестра, представил музыкантов.

– Начнем с известной вещицы, – сказал он. – Так, для разогрева.

Оркестр заиграл «Аравийского шейха». В отцовы времена это была новинка. Только что из Штатов.

Стоун курил и вместе с братом слушал отца.

Цирлих-манирлих
Берлин, 1926 г.

Вольфганг отставил кофе, взял ручку и вымучил фразу:

Учитель музыки набирает учеников. Специализация – пианино и все прочие инструменты.

Ну вот. Начало положено. Сочинил. Вольфганг отложил ручку.

– Поджарить еще тостов? – спросил он Фриду.

– Вольф! Ты же только начал!

– Ладно, ладно.

Вольфганг перечитал фразу и показал листок Фриде:

– Ну как?

– По-моему, нельзя говорить «специализация – все инструменты». В смысле, специализируются на чем-то одном, верно? Даже если ты универсал.

– Ну вот! Говорил же, не получится.

– Вольф! Ты не старался.

– Потому что душа не лежит. Напиши, а?

– Я штопаю.

Оба еще в постели. Воскресное утро. Вроде как лучший день недели. Безмятежный покой. Кофе, тосты. Фрида чинит носки, на ковре Пауль читает, Отто откусывает головы оловянным солдатикам. А Вольфганг сочиняет дурацкое объявление.

Он уныло погрыз ручку.

Специализация – все инструменты…

Обучение на любых инструментах?

Скажи, на чем, и я слабаю?

– Пожалуй, ограничусь пианино, – сказал Вольфганг. – Все хотят, чтоб их детки бренчали на фортепиано.

– Как знаешь. Главное – напиши.

Вольфгангу *претило* учительство.

И особенно – обучение детей. Но от друзей-музыкантов, которые вынужденно пошли на этот ужасный компромисс, он знал, что иной работы не светит.

– Конечно, нагрянут детки, – пробурчал Вольфганг. – Взрослые уже понимают, что в музыке ни уха ни рыла. А соплякам еще надо растолковать, что они не смогут играть.

– Пожалуйста, не накручивай себя, – попросила Фрида.

– Но ведь в том-то и соль! На девяносто девять процентов, ей-богу! Долго и мучительно вдалбливаешь ученику, что он полная бездарь и никогда не сыграет ничего сложнее «O Tannenbaum!»[38]. День за днем тянешь кота за хвост, и вот наконец до ученика доходит, он сдается и забывает о музыке до той поры, когда отдает в обучение собственных бездарных отпрысков.

– Вольф, замолчи! Либо пиши, либо нет.

– Я не вру, вот и все.

Что уж говорить о чужих детях, если своих-то за уши тащишь к инструменту! Приличную музыку сыновья даже *слушали* только из-под палки. Крепло подозрение, что уродились два

[38] «О, елочка!» (*нем.*) – старинная рождественская песня на стихи Эрнста Аншульца (1824).

филистера. Из джаза им нравился один регтайм, хотя к семи годам музыкальный вкус уже должен развиться.

– Может, они оба приемыши? – драматическим шепотом спрашивал Вольфганг.

Фрида не находила шутку смешной.

Я профессионал, говорил Вольф, я не нянька с регалиями.

Конечно, всему виной правительство. Этот Штреземан[39] и его социал-демократические подельники, талдычащие о стабильности и благоразумии. Во что превратилась страна? Позор! Все замерло даже в Берлине – сердце и планетарной столице самого молодого, безумного и гедонистического авангарда. Да, в выходные клубы работали, но будни-то были мертвые.

– Люди перестали танцевать! – простонал Вольфганг. – Три года назад у меня было по двадцать халтур в день. А сейчас я дерусь с классными лабухами за грошовую работу. Виртуозы служат таперами во вшивых киношках! Преступное разбазаривание таланта. Господи, как я скучаю по старым добрым денькам!

– Что? – Фрида сосредоточенно вставляла нитку в иголку. – Истосковался по революции и инфляции?

– Да! Именно, Фред. О том и речь. Национальное бедствие, катастрофа – вот что раскачает город. Три года назад, когда страна вконец обессилела, банковские клерки и продавщицы впритирку танцевали до рассвета! В стельку напивались, нюхали кокаин и трахались в туалете! Куролесили, будто завтра не наступит, ибо не верили ни в какое завтра. И вдруг они превратились в своих родителей. Стыдобища!

– Нельзя вечно веселиться, Вольф.

– Почему это?

– Потому что существуют обязанности. Людям нужно *сберегать*. Потихоньку планировать будущее.

– Будущее! *Будущее*. Если б кто-нибудь из немцев моложе тридцати пяти знал, что *означает* это слово. Пока что *не было* никакого будущего! Утром *проснуться* – вот что считалось будущим. И ближайшая кормежка. А теперь народ планирует *старость*. Думает о пенсии, откладывает на летний отпуск. Мы ничему не научились, что ли? Неужели никто не понимает, что очередной стакан и следующий танец – *единственные* стоящие капиталовложения?

– Решать тебе, милый. Можешь этим заниматься, можешь не заниматься, но ты не хуже меня знаешь, что деньги нам не помешают, – сказала Фрида и, помолчав, добавила: – Ну, пока ты не продашь свое сочинение.

Вольфганг заулыбался. Фрида говорила всерьез. Она все еще верила.

– Как новый Мендельсон?

– Нет, – возразила Фрида. – Как новый Скотт Джоплин.

Вольфганг ее поцеловал.

– Гы! – сказал Отто, окруженный погибшими солдатиками.

– Что ты как маленький… – оторвавшись от книжки, упрекнул его Пауль и чуть слышно закончил: – говнюк.

– Я не Джоплин, – усмехнулся Вольфганг. – Но счастлив жить в мире, где Джоплины существуют.

– И что теперь? – улыбнулась Фрида.

– Ладно, попытаюсь состряпать объявление.

– Давай уж сюда!

[39] Густав Штреземан (1878–1929) – немецкий политик и государственный деятель, рейхсканцлер (1923) и министр иностранных дел (1923–1929) Веймарской республики.

А ровно через неделю, в следующее воскресное утро, Вольфганг уже не валялся в постели, а в выходном костюме наливал кофе преуспевающему господину, который вместе с изысканно одетой шестилетней дочкой примостился на краешке захламленной кушетки.

– Как зовут девочку? – спросил Вольфганг. – Фройляйн Фишер?

– Пожалуйста, называйте ее по имени – Дагмар, – ответил господин.

– Угу. Что-нибудь выпьете, Дагмар?

Из-за кухонной двери послышалось сдавленное хихиканье. Прочих членов семейства Штенгелей явно забавляли отцовские потуги на светскость. В числе озорников была и маленькая Зильке.

Вольфганг грозно глянул через плечо, но злоумышленники были незримы.

– Я бы выпила лимонаду, герр профессор, – чрезвычайно светским тоном ответила девочка. – Пожалуйста, побольше сахару.

В кухне грянул приглушенный взрыв веселья; мало того, следом донесся девчачий голосок, передразнивший гостью: *«Я бы выпила лимонаду, герр профессор. Пожалуйста, побольше сахару»*.

Конечно, благовоспитанная девочка, навытяжку сидевшая рядом с отцом, расслышала издевку и тотчас надменно вздернула носик, как человек, привыкший игнорировать мальчишек и прочую шушеру.

– Извините, – сказал Вольфганг. – Сыновья. Я бы их вышвырнул побираться на улице, но закон обязывает приглядывать за детьми. Веймарское правительство в чем-то слишком мягкотело, верно?

– Мальчишки, – снисходительно улыбнулся герр Фишер. – Помнится, я сам был таким.

– Там еще девочка, – твердо сказала Дагмар. – Я четко ее расслышала. По-моему, очень скверная девочка.

Вольфганг улыбнулся сконфуженно:

– Дочка горничной. Она хорошая, только шалунья.

– Мама говорит, грубость и хамство не имеют оправданий. Шалость никого не извиняет.

Ответом на благочестивую нотацию было глухое прысканье, и Вольфганг решил, что лучше перейти к делу.

– Боюсь, лимонада нет, Дагмар. К сожалению, только вода. И потом, я не профессор.

– Если будете меня учить, значит, профессор, – возразила роскошно одетая девочка. Немигающий взгляд ее огромных темных глаз был тверд. – Все мои наставники – профессора. Так полагается.

Герр Фишер вновь снисходительно улыбнулся, явно уверенный, что собеседник разделяет его восхищение этой очаровательной умницей-куколкой.

На самом деле Вольфганг изо всех сил боролся с искушением отшлепать девчонку и поскорее выставить ее вместе с папашей, чтобы самому закурить и потренькать на пианино. Однако надо было притворяться. Он обещал Фриде, да и деньги не помешают. Хотя Вольфганг был абсолютно уверен, что ему откажут. Он и визитеры – разные люди. Вольфганг знал, кто к нему пришел, этого человека знали все. Хозяин универмага Фишера на Курфюрстендамм. А такие как герр Фишер не доверяют своих дочерей тем, у кого нет даже лимонада, не говоря уж о профессорском звании.

– Позвольте узнать, герр Фишер, почему вы ко мне обратились? – спросил Вольфганг. – Я ведь не совсем педагог, скорее новичок в преподавании. Не могу похвастать опытом в общении с детьми. Особенно с такими юными.

И особенно с маленькими задаваками, про себя добавил Вольфганг. Ишь ты, принцесса магазинная, цирлих-манирлих. Папенька желают снабдить ее «благородным изящным» навыком, дабы успешно выдать за какого-нибудь второсортного экс-королевича или сынка промышленного магната.

– Мал опыт общения? – рассмеялся герр Фишер. – При нашем появлении из комнаты выскочили два юных сорванца. Наверное, домовые? Судя по их озорству.

Вообще-то мальчишки, напустив на себя грозную презрительную враждебность, уже бочком протиснулись в гостиную, хотя держались вне поля зрения чужаков. Пауль и Отто были готовы терпеть девчонок в школе, но только не в собственном доме (Зильке считалась почетным мальчиком). Особенно таких расфуфыренных – аккуратные розовые банты, белоснежное бархатное платье с черной каймой и воздушными кружевами на воротнике и манжетах.

– Мальчишки – иное дело, – ответил Вольфганг. – Тем более что с этими я обязан только жить, но не учить их музыке.

– Как, вы их не учите? – удивился герр Фишер. – Очень странно.

– Нет, учу, конечно, – смешался Вольфганг. – Но, так сказать, по-родственному. Серьезно я обучал лишь взрослых и, честно говоря, немногого достиг. Знаете, я совсем не уверен, что я тот человек, который вам…

– Муж будет в восторге, если вы решите отдать вашу прелестную Дагмар ему в ученицы. – С подносом печенья Фрида вышла из кухни.

За ее спиной чьи-то губы громко и непристойно фыркнули, Фрида гневно обернулась, но злодей успел скрыться.

– Я – фрау Штенгель, герр Фишер. – Фрида протянула гостю руку. – Доктор Штенгель.

– Спасибо, дорогая, – решительно сказал Вольфганг. – Я и сам разберусь с клиентами, только у нас вряд ли что получится.

– Вот как? – спросил Фишер. – В объявлении сказано, вы берете учеников. Моя дочь чем-то нехороша?

– Да нет же! – всполошился Вольфганг. – Послушайте, герр Фишер, я знаю, кто вы. В Берлине ваше имя у всех на слуху. Вы богатый человек и можете нанять в учителя главного дирижера берлинской филармонии. Я вам не нужен.

– Почему?

Вольфганг обвел рукой захламленную комнату. В углу притулился тромбон. На столе аккордеон в куче газет и рукописных нот. На полу подушки и книги. На книжных полках грязные кофейные чашки. На стенах театральные и киноафиши: соседствуют Пискатор и Чаплин.

Обрамленные эстампы: в угрюмом гневе сирые и убогие взирают на карикатурных алчных капиталистов, купающихся в деньгах, и кровожадных вояк-пруссаков, чьи руки по локоть в крови.

– Жорж Гросс, – сказал Фишер. – С первой берлинской дада-ярмарки.

– Вы его знаете? – изумился Вольфганг.

– Думаете, лавочник не способен ценить искусство?

– Ну… признаюсь, я удивлен… Вам нравится Гросс?

– Я им *восхищаюсь*, хотя в гостиной его картины не вешаю, – уклончиво ответил Фишер.

Повисло молчание. Фрида предложила Дагмар печенье, которое девочка нехотя куснула, точно пресыщенная мышка в ожидании деликатеса.

– Послушайте, герр Штенгель, я слабо разбираюсь в музыке и профан в педагогике, – сказал Фишер. – Я дока в торговле. Когда нанимаю сотрудников, я ищу людей, интересующихся тем, что им предстоит продавать. Чтобы сумели заинтересовать и покупателей. В вашем объявлении сказано: композитор, аранжировщик, инструменталист и вдобавок практикующий исполнитель. Мне это нравится. Не знаю, кто больше композитора интересуется музыкой. Разве что торговец пианино.

– Хотите, чтобы я «продал» музыку вашему ребенку? – Вольфганг не сумел скрыть презрения.

– Как всякий товар, верно? Если собираешься угрохать кучу денег на шляпу, сперва убедись, что она тебе нравится. Чтобы освоить любой инструмент, потребуется масса усилий

и искренняя вера в музыку, не так ли? Да, я хочу, чтобы вы «продали» музыку и вдохновили Дагмар на учебу.

Сказано откровенно, подумал Вольфганг, и в этом, бесспорно, есть резон.

– У вас дети. Детская душа – величайшая загадка, в которой я не смыслю ни бельмеса. Вот отчего мы наняли двух нянек. Вы же сами воспитываете своих детей. На мой взгляд, отличная рекомендация.

Вольфганг хотел ответить, но под Фридиным взглядом смолчал, и Фишер продолжил:

– Мы с женой считаем, что у Дагмар проявился талант… – Он осекся, заметив насмешливую искру в глазах Вольфганга. – Не волнуйтесь, я не из тех нелепых родителей, которые мнят свое чадо вундеркиндом. Просто мы заметили, что бренчать на пианино ей интереснее, чем возиться с куклами, и решили нанять учителя. Я заглянул к двум-трем дорогим наставникам, но их так называемые «студии» – нечто среднее между тюрьмой и кладбищем. Я же хочу, чтобы дочь веселилась. Кроме того, пару раз я был на ваших концертах.

– Правда? – встрепенулся Вольфганг. – Где?

Фрида улыбнулась его щенячьей радости.

– Давненько уже, поскольку нынче экономика оживает, работаешь допоздна. Но в инфляцию все были посвободнее, верно? Я слышал вас в «Джоплине».

– Мой лучший ангажемент.

– Да, там было весело. И вполне безумно. Помнится, хозяин клуба подошел к нашему столику и предложил мне продать универмаг. Вот так вот. Просто невероятно, ему было лет восемнадцать-девятнадцать.

– Едва восемнадцать исполнилось, – сказал Вольфганг.

– Ну вот. Думаю, этот молодой человек далеко пойдет.

– К сожалению, нет. Он умер.

– Господи! А что случилось?

– В инфляцию у него развились склонности, которым позже он уже не мог потакать.

– Ясно.

– В тот год было много потерь. Он в их числе.

– Весьма печально.

– Да, и мне жаль. Он не знал нот, но был джазменом, каких я не встречал. Вспоминаю его всякий раз, как появляется новый американский диск. Он был бы в восторге. Дурачок. Ладно, герр Фишер, вы меня убедили. Я принимаю ангажемент. Буду продавать вашей дочери музыку.

– Вольф! *Ты* должен убеждать, – укорила Фрида.

– Да, конечно. Извините.

– Все в порядке, – засмеялся герр Фишер. – Так и так хорошо.

За дверью гостиной вновь влажно фыркнули, потом рассмеялись и зашаркали.

– Дагмар не соскучится, я вам обещаю, – радостно сказала Фрида.

И в этот миг был проложен курс четырех юных жизней.

Субботний клуб
Берлин, 1926–1928 гг.

Предубеждение к отцовой ученице вмиг испарилось, когда на первый урок Дагмар Фишер явилась с огромным шоколадным тортом.

Конечно, Пауль и Отто *видели* такой торт. В редкие праздничные визиты в продуктовый отдел знаменитого универмага. Через витрину кондитерского прилавка, о которую расплющивались их носы и грязные пальцы. Однако было невозможно и помыслить, что когда-нибудь этот торт украсит стол в их квартире. Ну ладно еще – *кусочек*, который после долгих дебатов был тщательно отобран, церемониально отрезан продавщицей, завернут в вощеную бумагу и уложен в полосатую коробку, после чего принесен домой и до ужина убран подальше. А уж затем поделен на равные доли, для чего Пауль, желавший абсолютной справедливости, требовал применения весов, угольника и линейки.

Но чтобы целый торт!

Опасаясь визита богатенького чада, мальчишки всерьез прикидывали расположение миски с водой над дверью, но бесстыдно растаяли от благодарности.

Смешанной с благоговением.

Ей-богу, девочка, владеющая таким тортом, – полноправная королева или, самое малое, принцесса.

– Можно кусочек? – робко спросили братья.

– Берите весь, – ответила Дагмар. – Папин опыт учит, что перед тортом не устоят даже самые отпетые хулиганы.

– Похоже, твой папа коварен и бесстрашно честен, – сказал Вольфганг, готовя тарелки и нож.

Зильке (которая в жизни не видела даже крохи этакого изобилия крема и шоколада) проявила характер и не дала себя околдовать. Она сложила руки на груди, вздернула подбородок и категорически отвергла угощение.

Продержавшись секунд пятнадцать-двадцать.

Затем четыре детских рта (плюс один взрослый) уничтожили лакомство, героически оставив Фриде весьма небольшую порцию.

– Если мы ели твой торт, – сердито прошептала Зильке, которой велели сопроводить новую гостью в туалет, – это еще не значит, что ты в нашей компании.

– Если я позволила тебе есть мой торт, это еще не значит, что ты в моей компании, – надменно бросила Дагмар.

Вольфганг надумал подключить к занятиям сыновей и Зильке. Он решил, что с детской группой полтора часа пролетят быстрее, нежели с одной ученицей. И веселее. И в том и в другом он оказался прав – с самого начала уроки задались. Вопреки или благодаря бесконечным распрям четырех юных учеников.

Шел обмен тайными посланиями. Торжественно заключались и нарушались пакты. Возникали и распадались союзы.

Тем не менее в этой кутерьме как-то постигалась музыка. Герр Фишер не ошибся: его изящная дочка обладала некоторыми музыкальными способностями. Что подстегнуло близнецов в ревностном желании превзойти девчонку, и они стали примериваться к разным инструментам. В конце концов, их папа – композитор, а отец Дагмар – всего лишь хозяин магазина. Отто выезжал на природном чутье, но Пауль был собраннее и за счет усердия играл лучше.

Одна Зильке не выказывала исполнительских способностей, но обнаружила сносное чувство ритма, и Вольфганг определил ее на бубен и маракасы. Потом он услышал, как Зильке

потчует соучеников похабными песенками, подцепленными от маминого дружка, и понял, что в ее лице обрел вокалистку.

В конце первого года обучения юные музыканты сподобились на маленький концерт для родителей Дагмар. На аппарате «Джон Булл», который Фрида привезла с английской конференции, даже отпечатали программку.

Эдельтрауд, тоже приглашенная на концерт, пришла с новым дружком Юргеном. Симпатичный парень нервно мял кепку и благодарил фрау Штенгель за оказанную милость посетить ее дом. Присутствие знаменитой четы Фишер повергло его в совершенный трепет, и он всякий раз вставал, когда кто-нибудь из супругов входил или выходил.

Со временем Дагмар все дольше задерживалась у Штенгелей по субботам. Она уговорила родителей, чтобы нянька забирала ее не сразу после окончания полуторачасовых уроков. Фишеры были рады, что их дочь общается с детьми из иного сословия. В конце концов, на дворе двадцатый век, в Германии развитая демократия. Кроме того, музыкальный учитель женат на враче, в тестях у него полицейский, что говорит о крепком и славном семействе. Правда, белокурая дочка горничной весьма невоспитанна, коленки ее вечно сбиты, сандалии потерты, а ее берлинским выговором можно резать стекло, но ничего худого в том, что Дагмар кое-что узнает о девочке совсем иного круга. Нет сомнений, что когда-нибудь нынешние однокашники станут челядью юной Фишер.

Вероятно, супруги полагали, что дети проводят время за совершенствованием музыкальных навыков, чтением и прослушиванием пластинок. Либо играют в настольные игры – «Змейки и лесенки» или недавно появившуюся и чрезвычайно популярную «Монополию», которую герр Фишер находил увлекательной и развивающей. На самом же деле компания околачивалась на улицах Фридрихсхайна, где был простор для озорства. По субботам Фрида работала, и Вольфганг, в маленькой квартире сатаневший от шума и воплей, просто выгонял ребятню на улицу, предоставляя ей полную свободу радостно шнырять по чужим дворам, скакать в «классики», кидаться камнями, тырить фрукты с лотков и временами изучать причинные места друг друга.

В последнем развлечении Дагмар всегда выступала лишь зрителем. Она не желала показать даже трусики, но мальчишки удовлетворили свое любопытство, исхитрившись задрать ее подол. А вот Зильке в любое время была готова заголиться – мол, подумаешь, делов-то.

Постепенно четырех отроков связали крепкие узы, обособив их от школьных друзей и домашних. Они были Субботним клубом – тайным обществом, известным лишь им и закрытым для новых членов. Многажды давались торжественные обеты и клятвы, обязывавшие хранить вечную верность сообществу и друг другу. Правда, из-за внутренних распрей верность друг другу частенько нарушалась, особенно девочками, которые взяли в привычку на присяге скрещивать пальцы за спиной и чуть слышно шептать «кроме Дагмар» и «не считая Зильке». Однако дружба Субботнего клуба была настоящей. Пауль, Отто, Дагмар и Зильке стали истинной бандой четырех.

Конечно, с Зильке мальчики виделись чаще, отчего та простодушно воображала, будто у нее преимущество перед Дагмар, а в их компании существует элита. Все было с точностью до наоборот. Сравнительно редкие встречи с Дагмар окутывали ее загадочностью, которая вкупе с естественным высокомерием делала ее совершенно неотразимой. Зильке недоумевала: чем противнее, заносчивее и равнодушнее держалась соперница, тем больше мальчишки перед ней стелились. Тогда как все ее, Зильке, старания угодить они воспринимали как должное или, хуже того, игнорировали.

Прошло года два, прежде чем три члена Субботнего клуба, обитавшие во Фридрихсхайне, столкнулись со своей элегантной подругой с Курфюрстендамм в обстоятельствах, отличных от их табельного дня. Это произошло во время межшкольного водного праздника на озере Ванзее. В веймарские годы нараставшего равноправия воспитанники дорогих частных

школ изредка встречались со спортивными соперниками из государственных учебных заведений.

Сидя на берегу живописного озера, Пауль и Отто вдруг неподалеку увидели Дагмар, которая весело болтала с одноклассницами. Братья решили не объявляться – отчасти из робости перед толпой богатых девчонок, отчасти из-за непривычной обстановки вообще. Они ограничились созерцанием своей длинноногой подруги в купальнике – зрелище доставляло непонятное удовольствие.

Потом Дагмар подошла к пьедесталу почета.

– Чего это она? – удивился Пауль. – Черт! Неужто хочет кубки полапать?

Дагмар явно направлялась к столу с призами.

Десятью минутами раньше объявили перерыв на чай, учителя и судьи толпой кинулись освежаться, и Дагмар приняла чей-то вызов на «слабо». Пауль и Отто завороженно следили, как она бочком приблизилась к столу, схватила главный приз и ступила на помост перед стартовыми тумбочками, собираясь позировать для фото.

К несчастью, Дагмар оскользнулась на мокром помосте и выронила роскошный кубок, вдребезги разбив его подставку. В ужасе от содеянного, девочка замерла и лишь тряслась мелкой дрожью, а тут еще прозвучал свисток, возвещавший окончание чаепития и продолжение соревнований. Братья подскочили и выхватили у нее погубленный кубок.

– Вали отсюда! – рявкнул Пауль. – Дуй к своим!

Через минуту вернулись судьи и увидели двух мальчиков в плавках, сокрушенно вертевших в руках разбитый кубок.

– Извольте объясниться! – прогремел седоусый учитель. Жесткий воротничок, сюртук, трость – вылитый старый профессор.

– Какие-то хулиганы баловались, – пролепетал Пауль.

– Это мы баловались, – одновременно сообщил Отто.

– Мы за ними погнались и отобрали кубок, – доложил Пауль.

– Это мы его разбили, мы, – известил Отто.

Братья переглянулись.

– Ты дурак, – сказал Пауль.

В результате братьев Штенгель подвергли публичной порке, за которой наблюдала Дагмар, сраженная их отвагой и великодушием. И если честно, весьма польщенная, ибо не всякую девочку на глазах у подруг защитят два странных взъерошенных мальчика, даже не пикнувших под десятью розгами. А Пауль – под четырнадцатью, за вранье.

Наверное, братья орали бы, если б их секли по отдельности, но не желали выглядеть слабаками друг перед другом.

И уж тем более перед Дагмар.

Зильке со своей школой тоже была на празднике; она не видела происшествия, но тотчас обо всем узнала, ибо слух о событии распространился как лесной пожар. Когда соревнования возобновились (без опозорившихся близнецов Штенгель), сквозь толпу спортсменок Зильке пробилась к Дагмар. Девочки разительно отличались: для восьми лет очень рослая Дагмар в облегающем купальнике из наимоднейшего эластика и низенькая крепышка Зильке в мешковатом вязаном наряде (местами дырявом), не скрывавшем ссадины и царапины – следы бесконечных стычек.

– Из-за тебя мальчишек выпороли! – крикнула Зильке.

– Глупости, – надменно ответила Дагмар. – Я же не просила их брать вину на себя.

– Надо было признаться! Девочку бы не высекли.

– Вышла бы нелепость. Пауль и Отто и так уже наболтали каждый свое. Третья легенда была бы лишней, согласись. Все равно их бы наказали. И потом, они выручили меня – это по законам Субботнего клуба. Я считаю, они поступили благородно.

Зильке сжала кулаки. От злости лицо ее пылало. Но в окружении богатых девочек, все как одна в красивых эластичных купальниках, она себя чувствовала гадким утенком.

– Кто это? – раздался строгий голос. На горизонте возникла зловещего вида классная дама. – Девочка, ты должна быть со своей школой. Где твоя группа?

– Я хотела поговорить с Дагмар, госпожа, – пробурчала Зильке, уставившись в землю.

– Подними голову и отвечай отчетливо, девочка! Ты не в гостях у фрау Мямля, – пролаяла учительница.

Девчонки захихикали, а Зильке стала малиновой.

– Я хотела поговорить с Дагмар Фишер, – повторила она, чуть приподняв голову.

Дама недоверчиво взглянула на Дагмар:

– Вы знаете эту девочку, фройляйн Фишер?

– Да, фрау Зинцхайм. Ее мать – уборщица в доме, где я беру музыкальные уроки.

От столь уничижительной рекомендации у Зильке отвисла челюсть.

– Мы подруги! – крикнула Зильке.

Девчонки пуще захихикали, и на сей раз побагровела Дагмар.

– Пусть идет к своим. – Фрау Зинцхайм смерила Зильке недоверчивым взглядом. – Начинаются заплывы младших школьников. Соберитесь, Дагмар. Кроль, брасс, эстафета. Надеюсь, вы завоюете три золота.

– Да, фрау Зинцхайм.

Дама повернулась к Зильке:

– Уходи, девочка. Нечего тебе тут делать.

Фрау Зинцхайм отбыла. Зильке ожгла взглядом Дагмар и показала ей язык.

– Хватит, Зильке. Ты просто завидуешь, – сказала Дагмар. – Ты была бы не прочь, чтобы мальчишки приняли наказание вместо *тебя*. Думаешь, они бы на это пошли?

Зильке хотела ответить, но промолчала. Похоже, Дагмар попала в точку.

Два застолья и крах
Мюнхен, Берлин, Нью-Йорк, 1929 г.

Двадцать четвертое февраля.

Два праздничных застолья.

Одно – в берлинской квартире.

Другое – в мюнхенском доме на Шеллингштрассе, 50.

Пауль, Отто и Национал-социалистическая немецкая рабочая партия.

Всем исполнилось по девять лет.

Но только один перешагнет двадцатипятилетний рубеж.

Двое других обречены, как и бессчетные миллионы юнцов по всему миру.

Мюнхенский девятилетка всех убьет, прежде чем сгинет сам.

Берлинское застолье проходило очень весело.

Были игры, торт и американская содовая. Поначалу одноклассники Пауля и Отто и прочие члены Субботнего клуба друг друга стеснялись, но скованность быстро исчезла. Дагмар даже пожертвовала прической, когда настал ее черед водить в жмурках.

Для торжества был весомый повод, как в своем весьма пространном тосте, произнесенном за трапезой, отметил дед новорожденных. Естественно, юные гости пропустили здравицу мимо ушей, сосредоточившись на булочках и холодной курице.

– Мальчуганам повезло, они добьются больше нашего, – вещал герр Таубер. – Для них открыты любые возможности, ибо Германия очнулась от долгого кошмара.

Надо сказать, что именно по этой причине мюнхенское застолье вышло безрадостным. Юным Штенгелям намечавшееся процветание страны было во благо, Национал-социалистической немецкой рабочей партии – во зло.

Жизнь в Фатерлянде понемногу улучшалась, и партийный манифест, полный беспримесного гнева и ненависти, несколько подувял. В 1924 году на выборах в рейхстаг партия набрала три процента голосов. В 1928-м, после четырех лет криков, воплей, маршей и потрясания кулаками, результат снизился до 2,6 процента.

Коричневые рубашки растерялись.

Их лидер тоже растерялся. Но скрывал смятение под маской «железной и непоколебимой» воли.

Что пошло не так?

Манифест был вполне ясен. Если отбросить косноязыкую противоречивость «двадцати пяти пунктов», на которых Гитлер основал партию, в чистом осадке оставалось одно: во всем виноваты евреи.

Куда уж проще? Однако это утверждение все больше теряло смысл и поддержку.

Значит, евреи виноваты в неуклонном укреплении национальной валюты?

И в улучшении ситуации на рынке труда?

В успешной работе социальных служб?

Во вступлении в Лигу Наций?

Народ-то был доволен. Потому старый герр Таубер и говорил, что кошмар закончился.

Даже великая смута ноября 1918 года и миф о так называемом «ударе в спину»[40], столь милый нацистам, уже отдавали паранойей. Все двадцатые годы Гитлер беспрестанно поносил «ноябрьских преступников» – богатых трусливых евреев, затаившихся в Берлине и злонаме-

[40] Легенда об ударе ножом в спину (*нем. Dolchstßlegende*) – теория высшего военного командования Германии, возлагавшего на социал-демократов вину за поражение в Первой мировой войне. Германская армия якобы одержала победу на полях сражений, но получила «удар в спину» от «безродных» оппозиционеров на родине.

ренно организовавших поражение имперской армии, – однако не удосуживался объяснить их мотивы.

Поначалу народ верил, но теперь всем было плевать.

Германия шла вперед.

Мюнхенский младенец умирал.

Коричневорубашечники, угрюмо сидевшие за столом, еще не ведали, что вскоре все изменится. Ждать оставалось недолго – через восемь месяцев нацистская партия получит именинный подарок, о каком и не мечтала.

Хаос.

24 октября 1929 года в шести с половиной тысячах километров от Шеллингштрассе, на другой, гораздо более известной улице Уолл-стрит произошел величайший в истории биржевой крах, за которым последовала Всемирная депрессия.

Немецкая экономика, только-только выбравшаяся из мрачной бездонной пропасти, была еще очень хрупка. И оттого весьма предрасположена к новому финансовому безумию.

Мюнхенский младенец получит свой шанс.

Бой за Дагмар
Берлин, 1932 г.

Отто сильно удивился. Что это с братом?

Он был забияка и не утруждался разговорами, считая, что кулаком оно доходчивее. Пауль был другой.

Он дрался лишь в безвыходных ситуациях. И чувства свои держал в узде. Нет, он распалялся, но всегда подчинял страсть благоразумию.

Здравый смысл должен был ему подсказать, что в драке с Отто его непременно отметелят.

Пауль был выше ростом, но худощав.

Он был длиннорук, но Отто – цепок.

Пауль был рапира, Отто – гаубица.

Вот почему Отто изумился, клацнув зубами от апперкота левой. Мало того, вслед за первым неожиданным и чувствительным ударом правый братнин кулак саданул его под дых.

Отто невольно переломился, на что и был рассчитан меткий удар, и тотчас хук слева кувалдой сбил его наземь, из рассеченного уха потекла кровь, в глазах задвоилось.

Отменная «тройка».

Вот чего можно достичь внезапностью, хладнокровием и невозмутимой решимостью. Именно об этом неустанно говорил тренер по боксу. Оказалось, брат хорошо усвоил урок.

Идею бокса подал Вольфганг. Фрида была категорически против.

– Обучение драке к добру не приведет, – сказала она. – Еще возомнят, будто им все по плечу.

– Они уже возомнили, – возразил Вольфганг. – Не помешает уравнять шансы.

Разговор происходил два года назад, в 1930-м, когда в одночасье Берлин вновь превратился в сумасшедший дом, каким был при рождении близнецов. В город вернулись старые знакомые – звон разбитого стекла, топот, вопли и ружейная пальба. Казалось, они и не исчезали. Вновь шли ежедневные стычки между теми же группировками. Вот только у правых нацистские штурмовики заменили почивший и не оплаканный фрайкор.

– Все как прежде, – сказал Вольфганг.

– Нет, – мрачно ответила Фрида. – Для нас стало хуже.

Вольфганг знал, что она права. Столь оголтелого антисемитизма еще не бывало. Гитлеровский гауляйтер Берлина Йозеф Геббельс ежедневно на каждом углу клял евреев – мол, их власть и влияние донельзя разлагают общество.

– Если б мы вправду были так сильны, давно бы на хер его прикончили, – замечал Вольфганг.

Немецкие евреи ничуть не походили на геббельсовский портрет. Никакой организованности и сплоченности – их объединяло лишь генеалогическое несчастье родиться евреями. Их обвиняли в коллективном заговоре и агрессии, а они были не способны даже на коллективную защиту, – Вольфганг мог обезопасить семью лишь тем, что поставил решетки на окна, носил свинчатку в кармане и отдал мальчиков в секцию бокса.

Конечно, он не думал, что обретенные навыки они применят друг к другу.

Позже ни Пауль, ни Отто не могли вспомнить, кто первым признался в любви к Дагмар. В результате сей исповеди вспыхнула небывало кровавая драка.

Спровоцировала ее Зильке.

В общественном саду неподалеку от квартиры Штенгелей, на грязном пятачке компания играла в «подковы», и Зильке воспользовалась случаем посудачить о «принцессе» Дагмар, которая «совсем уж вознеслась».

– Задается, потому что богатая и смазливая, – брюзжала Зильке. – Потому что папаша миллионер.

Уязвленный этим пренебрежительным отзывом, один близнец велел ей заткнуться – мол, Дагмар нормальная девчонка.

Больше чем нормальная, влез другой близнец, просто замечательная. Даже классная. Офигенная.

В общем, богиня, иначе не скажешь.

И тут все всплыло. Штенгели втюрились.

Оба в одну девочку.

От злости и огорчения Зильке аж притопнула. Она давно подозревала, что в любезных ей близнецах зреет нечто подобное, но никак не ожидала столь всеобъемлющего чувства.

– Дурь какая-то! – крикнула Зильке. – Нельзя ее любить *вдвоем*!

С этим мальчишки охотно согласились.

– Конечно, нельзя! – рыкнул Пауль. – Тем более что я уже признался ей в любви и она согласилась гулять со мной.

– Вранье! – завопил Отто. – Это я уже признался, и она обещала гулять со мной!

Крепко обозленная, Зильке тем не менее расхохоталась:

– Обоих провела! Во дураки-то! Да она с вами срать не сядет.

– Нет, сядет! – заорал Отто, пихнув брата в грудь. – Она любит меня, а ты держись подальше, не то пожалеешь!

Вот тут-то Пауль и преподнес сюрприз, уложив близнеца отменной «тройкой».

– Она моя! – крикнул он, нависнув над слегка ошалелым поверженным братом. – Сказала, что любит меня!

– Фиг тебе, дрочила! – ответил Отто двум зыбким Паулям. – Она любит меня!

Еще никогда брат не был таким пунцовым, а взгляд его – таким бешеным. А ведь Пауль считался тихоней.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.